

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Франциск Ассизский Дмитрий Сергеевич Мережковский

I. Иоахим и Франциск

Путь Августина, ехавшего из Милана в Рим, в 387 году, креститься, шел по дремуче-лесистым холмам и долинам Умбрии, не минуя, вероятно, и той долины, у подножья Ассизской горы, где в глухом скиту Портионкулы (имя это от двух латинских слов: *portiuuncula terreni*, значит: «кусочек», «Частица Земли») спасались в четырех бедных, сплетенных из древесных ветвей, мазанных глиной и крытых соломой хижинах-кельях четыре старца, посланных из Св. Земли в Италию, с драгоценным даром св. Кирилла папе Либерию – частью Святейшего гроба Матери Божьей. Тут же, в дремучем лесу, находилась и малая, шагов десять в длину, семь в ширину, почти такая же, как телесные хижины, бедная церковка, где хранили старцы великую святыню. [1]

Церковка эта, хотя и полуразвалившаяся, уцелела, так же как имя скита, «Портионкула», от дней Августина до дней Франциска, отстроившего ее своими руками заново. Жители окрестных гор и долин, простые, бедные люди, пастухи, дровосеки и угольщики, верили, что Ангелы, сходя с неба по ночам, поют, возвещая людям великую радость, такую же, как там, в Вифлееме. «Вот почему дано той церкви имя: „Богоматерь Ангелов“, *María Angelorum*», – вспоминает легенда св. Франциска Ассизского. [2] В долгую-долгую ночь варварства Ангелы пели и здесь, в Портионкуле, так же как там, в Вифлееме, в зимнюю ночь Рождества, возвещая людям солнце великой радости: там, в яслях, на соломе, в нищете и нагоде, родился Сын Божий: а здесь, в такой же нагоде и нищете, царство Божие родится.

И то, что возвещали Ангелы, исполнилось: через восемь веков родился св. Франциск на Ассизской горе и основал в долине, у подножья горы, в Портионкуле, первую обитель Нищих Братьев, которой суждено было сделаться «главою и матерью», *caput et mater*, бесчисленных, рассеянных по всему лицу христианского мира таких же обителей. «Места этого, братья, не покидайте никогда: свято оно!» – скажет Франциск, умирая.

Истинно Господь присутствует на месте сем...

а земле, а верх ее касается неба, и Ангелы Божии восходят и нисходят по ней (Быт. 28, 12–17).

Здесь же, в Портионкуле, исполнилось и слово Господне: будете отныне видеть небо отверстием и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ио. 1, 51).

Если гора Блаженств, где было сказано: «блаженны нищие», – первая на земле точка царства Божия, а вторая – гора Хлебов, где сделаны были нищие блаженными, то третья точка – здесь, в Портионкуле, где это снова было сказано и сделано так, как нигде, никогда, за двадцать веков христианства.

Если бы знал Августин, что это будет, что отсюда, из этой «Частицы Земли», «Портионкулы» – третьей на земле точки, – людям суждено, через восемь веков, снова устремиться к его, Августинову «Граду Божию», *Civitas Dei*, то, может быть, проезжая через Портионкулу, он сошел бы с коня, снял обувь с ног своих, как Моисей при купине, преклонил бы колена и поцеловал, плача от радости, эту Святую Землю.

«Утренней звездой», *Stella matutina*, назовет св. Франциска легенда. [5]

Миру новое солнце здесь родилось, – скажет Данте в «Раю». [6]

Так же как там, в Вифлееме, над яслями Бога Младенца, – путеводная звезда волхвов засияет и здесь, в Портионкуле, утренняя звезда Франциска, возвещая людям после долгой ночи – Варварства солнце нового дня – Возрождения.

Первая вестница ночи, Звезда Вечерняя, – св. Августин; первая вестница дня, Утренняя Звезда, – св. Франциск. Умирая в лучах восходящего солнца, играет она, переливается всеми цветами радуги. Как бы играя, «с песнью умер», – «пел, умирая», *mortem cantando suscepit*, скажет о св. Франциске легенда; [7] можно бы сказать: «с песнью жил и умер»; живя и умирая, пел, играл, как утренняя звезда – в лучах восходящего солнца.

### III

Небо «Утренней Звезды», Франциска, – XIII век.

Чтобы понять душу человека, надо войти в душу времени, в котором жил человек. Но в душу людей XIII века очень трудно, почти невозможно войти людям XX века, потому что те для этих, как обитатели нижней гемисферы на старинных географических картах земного шара, – «антиподы», «люди, ходящие вниз головой»: все, что у тех, – наоборот всему, что у этих; потому что те для этих, как тот акробат, «жонглер» Парижской Богоматери, который хождением на голове перед изваянием Царицы небесной так утешил Ее и весь

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Ангельский сонм, что, будучи великим грешником, спасся.[8]

Но обитателям верхней гемисферы, прежде чем судить обитателей нижней, надо бы вспомнить, что «верх» и «низ», в смысле космическом и метафизическом, относительно, так что если бы люди XIII века могли увидеть нас, людей XX века, то, может быть, и мы показались бы им «ходящими вниз головой», «безумствующими», а кто действительно безумствует, это еще вопрос, на который мы уже отчасти ответили таким безумным делом, какого во всяком случае не могло быть в XIII веке, – Великой Войной, и готовимся, может быть, ответить еще большим безумием – будущей войной.

нное» слово Господне, *agrapnon*: если вы не сделаете... вашего верхнего нижним и нижнего – верхним, то не войдете в царство Мое; [9] если мы поняли и слово рабби Иозия Бен-Леви, Иудейского книжника времен Иисуса: «Царство Божие есть опрокинутый мир»; [10] если мы все это поняли, то, может быть, узнали бы, что нам нужно сделать, чтобы войти в душу людей XIII века – увидеть небо «Утренней Звезды» – Франциска.

#### IV

Лучшие люди тех дней, ученики св. Франциска, – «люди духа», *virgi spirituales*, как сами себя называют они, [11] а лучшие из лучших могли бы назвать себя «людьми Духа Святого»; люди же XX века, если не лучшие, то и не худшие, – «люди вещества», «материалисты», как тоже сами себя называют они, а худших можно бы назвать «людьми Духа Нечистого»: вот один из двух очевиднейших признаков нашей с людьми XIII века «антиподности», «обратности», а другой, столь же очевидный, – то, что в планетно-круговом движении человечества по орбите всемирной истории крайняя точка приближения к солнцу. – Христу, перигелий, достигнута, после двух первых веков христианства, в XIII веке, а точка отдаления, такая же крайняя, апогелий, – в XX веке.

Крайности сходятся: в этих двух столь противоположных веках, двух полушариях земли, один и тот же центр земного притяжения, вокруг которого движемся, ходим мы, как нам кажется, «вверх головой», а люди XIII века – «головой вниз», – этот единый центр – Собственность, как первый и последний вопрос: быть или не быть человечеству? Мы и они отвечаем на этот вопрос хотя и в противоположнейших смыслах, но с одинаково бесповоротной решимостью; разгадываем для нас и для них одинаково роковую загадку: что такое Собственность, – высшее ли благо или крайнее зло? утверждение или отрицание человеческого общества и личности? нужно ли разделение на «мое» и «твое» или не нужно; «разумно» или «безумно», говоря на языке XX века, а на языке XIII: «свято» или «грешно»? нужно ли «раздать все, что имеешь, чтобы спастись» или не нужно; «блаженны ли нищие или несчастны», говоря опять-таки на том языке, а на этом: «частная ли собственность или общая?», «капитализм» или «коммунизм»?

Смешивать два «коммунизма» – наш и XIII века – все равно что смешивать невинную девушку с блудницей, детскую улыбку св. Франциска – с дряхлой усмешкой Ленина, утреннюю звезду – с тускло-светящей гнилушкой.

Но не случайно, конечно, основное понятие, в этих двух «коммунизмах», выражается одним и тем же словом «коммуна», «община», очень древним, идущим от первой Апостольской Общины, а может быть, и от самого ее божественного Основателя.

Все же верующие имели все общее. И продавали имение (свое) и всякую собственность, и разделяли всем (поровну), смотря по нужде каждого... Было же у них одно сердце и одна душа (Д. А. 2, 44–45).

«Общее», *κοῖνια*, по-гречески, а по-латыни, *communia* – вот как будто один и тот же центр земного притяжения в обоих противоположных полушариях земли, – в обоих веках, XX и XIII; как будто одна движущая воля в этих двух, столь противоположных «коммунизмах». Но если бы мы поняли, что значит слово «верующие» в том свидетельстве Деяний Апостолов: «имели все общее», то мы увидели бы, что в этих двух «коммунизмах» – не одна, а две воли, непримиримые, как жизнь и смерть, как абсолютное «да» и абсолютное «нет». Воля, заключенная в этом одном слове: «верующие», и есть тот архимедов рычаг, которым все «опрокидывается», «переворачивается» так, что ходящие как будто «вверх головой» оказываются ходящими «головой вниз», и наоборот, по слову рабби Иозия Бен-Леви: «царство Божие есть опрокинутый мир».

Здесь-то, между двумя веками, – может быть, уже не нашим и XIII, а нашим и каким-то будущим, – и совершается всемирный переворот, «всемирная революция», по-нашему, но совсем не та, которой ждет коммунизм XX века, а гораздо более похожая на ту, которой ждал «коммунизм» XIII века.

#### V

«Вся жизнь Града Божия будет общинной, *socialis*»; «лишним владеть – значит владеть чужим»; «общая собственность – закон божественный, частная – закон человеческий»: вот путеводная нить, по которой шел св. Августин ко «Граду Божию», в V веке, а в XIII – поднял ее и пошел по ней дальше св. Франциск. [12]

Двух более противоположных святых, чем эти, трудно себе и представить. Что такое «восхищение», «экстаз», Августин, как будто вовсе не знает, а Франциск, можно сказать, ничего не знает, кроме этого; Бог для Августина – в «разуме», а для Франциска – в «безумии»; тот распят на кресте мысли, а этот – на кресте чувства. Только в одном, – в утверждении «противособственности», «общности имения», – «блаженного нищенства», – сходятся оба. К святости начинает путь свой Августин раздачу бедным всего, что имеет; так же начинает и Франциск. Оба затем основывают «Братства нищих», строят для них пустыньки, один – на «Частице Земли», в Тагасте, а другой – на такой же «Частице» в Портионкуле, и оба умирают «блаженными нищими».

Очень вероятно, что Франциск знал немногим больше об Августине, чем тот – о нем; но в одном движении Духа к «Царству» – «Граду Божию», – в разрешении того, что мы называем так плоско и недостаточно «социальной проблемой», – у них обоих, так же как у первых учеников Господних в Апостольской Общине, – «одно сердце и одна душа».

## VI

«Я хочу, чтобы все братья, не покладая рук, работали и заработок отдавали в Общину – Коммуну», – скажет Франциск; [13] то же как будто мог бы сказать, заменив только слово «братья» словом «товарищи», честный коммунист наших дней (если только есть коммунисты честные) и даже сделать как будто мог бы то же, но, на самом деле, совсем не то, и даже «антиподно-обратное» тому, что здесь говорит и делает Франциск: тот отнимает у других для себя, а этот – у себя для других; тот явно отрицает чужую собственность и тайно утверждает – свою, а этот свою – отрицает и утверждает чужую.

«Я не хочу воровать, а если бы я не отдал того, что имею, беднейшему, то был бы вором», – отвечает Франциск одному из братьев, когда тот убеждает его не отдавать полуголему нищему последней теплой одежды в зимний холод. [14] «Я не хочу воровать», – это и значит «собственность есть воровство». Это говорит св. Франциск; говорят и все «блаженные нищие» тех дней, но опять-таки совсем, совсем не так, и даже обратно тому, как это будет некогда сказано.

«Будем грабить богатых», – говорят коммунисты сейчас, а тогда говорили: «Бедных грабить не будем». – «Воры вы!» – говорят бедные богатым сейчас, а тогда говорили богатые бедным: «Мы – воры!»

«Мы ничего не имеем – всем обладаем», *nihil possidentes, omnia habentes*, – могли бы сказать «блаженные нищие» тех дней, а наших дней богачи несчастные, в том числе и ограбившие богачей коммунисты, должны бы сказать: «Всем обладаем – ничего не имеем», *omnia habentes, nihil possidentes*.

Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего у тебя не требуй назад (лк. 6, 30).

«Этого сделать нельзя», – говорят не только коммунисты, но и почти все христиане наших дней, или молча про себя думают и делают; «этого нельзя не сделать», – говорят «коммунисты» XIII века, или тоже молча делают.

Равенство против свободы утверждают коммунисты сейчас, а тогда утверждали свободу в равенстве. «Будет общность труда – будет и свобода», – говорит Августин, и могли бы сказать «коммунисты» XIII века; [15] «Будет рабство – будет и общность труда», – могли бы сказать коммунисты наших дней. Свободы, а значит, и личности даже не отрицают, не убивают они, а просто не видят их, проходят мимо них, как мимо пустого места; личность, можно сказать, только и видят «коммунисты» XIII века, только и утверждают личность в обществе и общество – в личности; одного – во всех и всех – в одном.

Надо ли говорить, какие из этого следуют необозримые выводы, вплоть до различия высшего человеческого космоса от хаоса, или, говоря на языке Августина, – «Града Божия», *civitas Dei*, от «Града Дьявола», *civitas diaboli*?

## VII

«Всякую зависть изгнал он из сердца своего, кроме одной: видя беднейшего, чем он, завидовал ему и, соперничая с ним, боялся, как бы не быть побежденным», – вспомнит о Франциске один из его учеников. [16]

Наш коммунизм – нищий Лазарь, который завидует богачу, «пирующему каждый день блистательно», а «коммунизм» XIII века – богач, который завидует нищему Лазарю. Двигался мир и тогда, как теперь, вечную завистью бедных к богатым, но к ней прибавлялась тогда непостижимая для нас, как будто противоестественная, зависть богатых к бедным: точно в действие земного притяжения вмешивалась сила притяжения какой-то иной планеты, нарушая законы нашей земной механики, – пусть только в одной, почти геометрической точке, но ведь и этого достаточно, чтобы все на земле перевернуть вверх дном.

Этот противоестественный как будто завистью богатых к бедным, великих – к малым, «наименьшим», *minores*, как назовет Франциск учеников своих, «блаженных нищих», – эту завистью одержим король Франции, св. Людовик, «худенький, тоненький, как хворостинка», *subtilis et gracilis*, «с лицом ангельской прелести», вышедший точно из легенды или раззолоченной заставки молитвенника, невозможный как будто в истории, но вот все же действительный. Только об одном, кажется, и думает он, – как бы сойдя с престола, сделаться нищим; выронив скипетр из руки, протянуть ее за милостыней.

В 1248 году, идучи в Крестовый поход, покидает он великолепное шествие вельмож своих и рыцарей, сходит с коня, снимает доспехи и идет по дороге один, «более похожий на нищего монаха, чем на рыцаря», – вспоминает очевидец, тоже нищий монах. «Где-то на юге Франции зашел однажды король в сельскую, бедную, немощеную церковку, сел на земле и сказал нам так: „Братья мои сладчайшие, придите ко мне, послушайте слов моих!“ И нищие братья уселись вокруг нищего короля, чтобы послушать слов его, должно быть, о „блаженстве нищих“». [17]

Странствуя таким же нищим паломником по многим христианским землям, пришел он в одну обитель у города Перуджии, где жил по смерти св. Франциска один из его любимых учеников, брат Эгидий; постучался в ворота и, когда вышел к нему привратник, попросил его вызвать брата Эгидия. Тот, хотя и не знал, кто стоит у ворот, и не мог бы узнать короля, потому что никогда лица его не видел, тотчас угадал сердцем, что это он; кинулся к нему со всех ног из кельи, пал перед ним на колени, пал и король так же; молча обнялись они, поцеловались и разошлись молча. «Как же не сказал ты ни слова такому гостю!» – укоряли Эгидия братья. «Что ж говорить? – ответил тот. – Когда мы обнимались молча, я увидел сердце его и он – мое». [18]

В этом безмолвном объятьи нищего монаха с нищим королем, – весь XIII век – светящее небо Утренней Звезды Франциска.

## VIII

Нищий король и папа, св. Целестин V, – тоже нищий; [19] два «коммуниста», «противособственника», во имя Христа: один – во главе государства, другой – во главе Церкви. Этого одного, пожалуй, достаточно, чтобы измерить всю глубину переворота, или, по-нашему, «революции», которая могла бы тогда свершиться, если бы не была остановлена чем-то, может быть, не внутренним, в ней самой, а внешним, в кости мира.

Что наверху, то и внизу. «Братства нищих» – Альбигойцы, Катары, Вальденцы, Патерны, Бедняки Лионские, *Umiliati*, Униженные, и множество других, до Франциска «Братства Меньших», *minores*, вместе с ним и после него, – возникают по всему христианскому Западу, от Венгрии до Испании, самозарождаясь независимо друг от друга, вспыхивая одновременно, как молнии и в противоположных концах неба, или языки пламени в разных местах загорающегося дома. [20]

Воля у всех одна: жить по образцу Апостольской Общины, так, чтобы «никто ничего не называл своим, но все у всех было общее» (Д. А. 4, 32). Движущая сила и цель у всех одна: «противособственность», «общинность», по исполненной с точностью (в этом для них главное) евангельской заповеди: если хочешь быть совершенным... раздай нищим именование твое...

и следуй за Мною (Мт. 19, 21).

Все они (кроме Катаров, еретиков нераскаянных, еще с V века) начинают с того, что идут в Церковь, а кончают тем, что бегут из Церкви, как из «места нечистого», где, по слову Данте, – каждый день продается Христос, – [21] и тысячами идут на костры Святейшей Инквизиции, умирая почти так же свято, как христианские мученики первых веков, за будущую Церковь – «царство Нищих Святых».

В их-то крови и будет потушен великий пожар, едва не охвативший весь христианский Запад, – то невообразимое для нас, для чего нет слов, кроме наших, недостаточных: «всемирная социальная революция».

## IX

Что нечто подобное могло произойти, видно по опыту Арнольда Брешианского, в середине XII века, в Риме. Бедных возмущает он против богатых, «тощий народ» – против «жирного», *popolo grasso*; изгоняет папу, отдает имущество Церкви государству – «Римской общине», «коммуне»; венчает народ на царство земное, во имя Царя Небесного; объявляет Республику, где все будут жить «в нищете и простоте евангельской». Возмущает народ и против императора: хочет угасить оба «великих Светильника» – Кесаря и Первосвященника, – потому что ночь прошла, наступает день Христов, когда не нужно никаких светильников, кроме солнца – Христа. Между базиликой Петра и Капитолием, между белыми колоннами древнего Рима и черными башнями феодальных владык, основать «Град Божий», *Civitas Dei*, по видению св. Августина, – вот замысел этого пророка или «безумца».

Но уже сходит с Альп, чтобы угасить пожар, могущественнейший из римских императоров, после Карла Великого и Оттона I, – Фридрих Барбаросса, и соединяется с изгнанным папой, Адрианом IV, против общего врага. Буйная чернь восстает на Арнольда и хочет выдать его императору. Он бежит в долину Орчио, скрывается в крепостных башнях тамошних баронов, последних верных своих друзей; но, осажденные, принуждены они выдать его императору. Где-то в темном углу задушен Арнольд потихоньку; тело его сожжено, и пепел развеян по ветру. [22]

Так соединились пальцы римского Первосвященника с пальцами римского Кесаря на горле мятежника, чтоб его задушить и под пеплом костра его погасить великий пожар.

X

«Частная собственность – закон человеческий, общая – закон божественный», – вот искра, брошенная в V веке св. Августином, от которой едва не вспыхнул пожар в XII–XIII веке, от Арнольда до Франциска. Если бы это знал Августин, то не ужаснулся ли бы? Или, вспомнив, кем сказано: огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся (Лк. 12, 49), – не обрадовался ли бы, что уже «возгорается»?

Главный поджигатель пожара, опаснейший для Церкви, «ересиарх», действительный или только мнимый для государства, «возмутитель», величайший «мятежник» – «революционер», по-нашему, после тех двух, Иисуса и Павла, – «с ангельским лицом человек», «кротчайший из людей на земле», увиденный Данте в Раю, «Калабрийский аббат, Иоахим». [23]

XI

Внешняя жизнь Иоахима нам почти неизвестна, может быть, потому, что ее почти и не было, – вся его жизнь была только внутренней, и еще, может быть, потому, что жизнь его так же забыта и презрена людьми, как он сам.

Иоахим родился в 1132 году, в городе Челико (*Celico*), близ Козенцы, в Калабрии, земле между тремя материками – Европой, Африкой и Азией, откуда снежные вершины Студеных Альп смотрят на два моря – Латинское, Ионическое, Западное, и Греческое, Эгейское, Восточное. [24] Воздухом всемирности дышалось здесь, в Калабрии, во дни Иоахима, так, как, может быть, ни в одной земле христианского Востока и Запада.

Иноки здешних горных обитателей, или, как назывались они по-гречески, «лавр», могли видеть не только одну из двух половин христианского мира, Западную, но и другую, Восточную; не только бывшее, но и будущее единство христианского человечества в Церкви Вселенской.

Воздухом всемирности будет дышать и Калабрийский монах, Иоахим; одной из главных мыслей его будет соединение Церквей «от моря до моря», от Востока до Запада. [25]

XII

Первое забытое имя Иоахима, «Иоанн» (*Jiovanni Ioachino*), в память Иоанна Предтечи, – как бы вещий знак того, что будет и он Предтечей, но уже не Сына, а Духа. [26]

Родом Иоахим – не итальянец, а норман, из древнего благородного и богатого дома. [27]

Первые, в новой, христианской Европе, всемирные завоеватели, норманские викинги, дикие лебеди Севера, на крепко сколоченных, как лебязьи груди, выгнутых ладьях своих, вспенивают воды всех европейских морей, от ледяно-серой Балтики до огненно-синих ионических волн; первые соединяют они Северо-восток Европы, где основывают Русь-Россию, с Юго-Западом, где основывают королевство Обеих Сицилий – Иоахимову родину.

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)

Кровь норманских викингов недаром течет в жилах Иоахима: будет и он завоевателем всемирным, но уже не морей и земель, а духа.

Жизнь начинается, как все: после школы в Козенце, шестнадцатилетним отроком, поступает на службу в королевскую курию. Но жить, как все, не может или не хочет: что-то манит его в неизвестную даль. В двадцать пять лет едет на Восток путешествовать с разрешения отца, как богатый вельможа; хочет насладиться жизнью при блестящем дворе византийского императора Михаила Компена.

. Землю. [28]

Сорок дней постится и молится в пещере на горе Фаворе, где в Пасхальную ночь, «восхищенный в Духе», так же как Иоанн на Патмосе, видит

...Ангела, летящего посередине неба, который имеет Вечное Евангелие, *Evangelium Aeternum*, дабы благовествовать его живущим на земле, всякому племени и колону, и языку, и народу (Откр. 14, 6).

Долго странствует еще по Востоку, посещая лавры и скиты великих тамошних подвижников, где понял, может быть, то, о чем говорили ему снеговые вершины Калабрийских гор, смотрящие «от моря до моря», – что в судьбах христианского мира совершится «Вечное Евангелие» только тогда, когда две разделенные Церкви соединятся в одну, Вселенскую.

Вернувшись на родину, остается еще многие годы мирянином, потому что, после сурового пустынножительства греческих лавр, латинские аббатства, где иноки живут иногда в большем довольстве, чем бедные люди в миру, – ему не по душе. Но так как слово Божие легче проповедовать иноку, – постригается, наконец, в одной Цистерианской обители, где, вопреки многим отказам и даже бегству его, братья избирают его настоятелем. Через несколько лет снова бежит и долгие годы странствует нищим по всей Италии, возвещая людям то, что открылось ему на горе Преображения, – «Вечное Евангелие Духа Святого», *Evangelium Aeternum, Sancti Spiriti*, – «близкое обновление Церкви пришествием Духа». [29]

За эти годы пишет он четыре главных книги свои: «Согласие Нового и Ветхого Завета», «О четвертом Евангелии», «Истолкование на Апокалипсис» и «Десятиструнная Псалтырь».

Когда возвращается на родину, в Калабрию, столько учеников сходится к нему, что он принужден волей-неволей соединить их в братство, с уставом, утвержденным в 1196 году папою Целестином III, и основывает обитель св. Иоанна Предтечи, Сан-Джованни-ин-Фиоре, в вековом сосновом бору, на плоскогорье Силайском (*Sila*), окруженном снеговыми вершинами Студеных Альп, где святая тишина пустыни нарушается только утренним воркованьем горлиц и полуденным клекотом орлов, шумом далеких потоков и гулом далеких лавин. [30]

Здесь, в 1200 году, за два года до смерти, в Пасхальную ночь, глядя на белые в темно-лиловатом небе Калабрии снеговые вершины, снова, как тогда, сорок лет назад, «восхищен был в Духе», и сердце его пронзило, как молния, Число Божественное: Три.

### XIII

Людам наших дней Иоахим так же неизвестен, как Тот, чей он пророк и благовестник, потому что из трех Лиц Божиих самое неизвестное людам, неузнанное, неузнаваемое, – Дух.

внешний, явный, физический, – «дух, дыхание всей живой твари», – имя Его соединяет не только всех людей, но и все дышащее, с Духом – Дыханием Божиим.

Дух Твой пошлешь, – созидаются... отнимешь... умирают (пс. 103, 30, 29).

Если жить – дышать, значит, быть соединенным с Духом Божьим, получая от Него что-то в рождении, с первым вздохом, и что-то Ему отдавая, с последним вздохом, в смерти, то человек, вместе со всею живою, дышащей тварью, не может чего-то не знать о Духе; а если все-таки не знает ничего, то потому, что один из всей живой твари не хочет знать. Почему же не хочет?

### XIV

Дух-Свобода: в этих двух словах – весь религиозный опыт Иоахима; в них же, если бы мы поняли их в соответственном опыте, открылась бы нам и главная причина его неизвестности.

Воля к Духу есть воля к свободе: люди не хотят знать Иоахима, потому что воля к свободе ими потеряна, и там, где она была, родилась иная воля – к рабству.

Первое, естественное, физическое условие всякой жизни, дыхания, – свобода: к воздуху, свободнейшей стихии мира, – простейшему и яснейшему символу Духа, – приобщается все, что живет, дышит.

Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит

и куда уходит.

Это значит: внутреннейшее, во всей полноте непознаваемое, но в какой-то одной исходной точке, начале безграничных возможностей, – не только человеку, – всей живой твари доступное, существо Духа – Свобода.

Так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ио. 3, 8).

Только во втором, сверхъестественном «рождении свыше» так бывает во всей полноте; но в какой-то, опять-таки одной исходной точке, начале безграничных возможностей, не только человек, – все живое, дышащее, рождаясь от Духа – Дыхания Божия, получает, уже в первом, физическом рождении, вместе с жизнью – дыханием – божественный дар – свободу, и как бы говорит, исповедует каждым мгновением жизни, каждым дыханием: Дух – Свобода.

Если «дыхание – дух» есть простейший, физический символ свободы, то стеснение дыхания – удушье есть такой же физический, простейший символ рабства: жить – дышать значит быть свободным; поработиться значит задохнуться – умереть. Это так чувственно-просто, что и животные, и даже растения, чья жизнь есть тоже дыхание, – если бы имели человеческий разум, – могли бы это понять.

Ибо вся тварь совокупно стенает донныне... в надежде, что освобождена будет от рабства тлению (смерти) в свободу детей Божьих (Рим. 8, 22, 21).

Если же этого не понимает из всей живой твари только один человек, то опять-таки потому, что не хочет понять, а не хочет потому, что произошел в нем какой-то метафизически-чудовищный вывих, извращение воли, – тягчайшее, может быть, следствие того, что в религиозном опыте христианства испытывается глубже и вернее всего как «первородный грех». Если человек в грехопадении своем увлек за собою всю тварь, то пал сам ниже всей твари, в этой именно точке, – в приобщении всего живого, дышащего, к Дыханию, Духу Божию, – в Свободе.

Ненавидит рабство, любит свободу вся живая тварь, так же физически-естественно, как любит жизнь и ненавидит смерть; только один человек может любить рабство метафизически-противоестественно. Птица свободна в воздухе, рыба – в воде, зверь – в лесу; и каждый лист на дереве, каждая былинка в поле дышит, растет и цветет, насколько ей дано Духом – Дыханием Божиим, свободно; только один человек, мнимый «царь творения», – действительный и безнадежный, неосвободимый, потому что вольный – раб.

Вся тварь покорилась суете (рабства-смерти) не добровольно, но по воле покорившего ее (Рим. 8, 20), – свободоубийцы – «человекоубийцы исконного» – диавола; только один человек покорился добровольно. В рабстве «донныне стенает и мучится вся тварь»; только один человек поет и наслаждается, или хотел бы насладиться рабством.

## XV

Выправить этот чудовищный вывих человеческой воли могло лишь чудо; павшую природу человека поднять, исцелить ее от этого извращения противоестественного можно было только сверхъестественно, тем, что опять-таки вернее и глубже всего испытывается в религиозном опыте христианства как «Благодать», *charis, gratia*.

Дух... послал Меня... проповедовать пленным освобождение...

отпустить измученных (рабов) на свободу (Лк. 4, 18).

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ио. 8, 36).

Начатое Сыном, в Духе, освобождение человека от тягчайшего, потому что внутреннейшего, ига, – следствия первородного греха, – воли к рабству, продолжалось в христианстве одиннадцать веков и достигло высшей точки в Иоахимовом «Вечном Евангелии», в откровении Сына в Духе – исполнении Второго Завета в Третьем, – в царстве Свободы.

Но с этой высшей точки – не принятого и не отвергнутого, а лишь молча обойденного Церковью Иоахимова опыта-догмата восходящая линия христианства медленно, в течение семи веков, падает. После того, что мы называем на языке не религии, а лишь истории слишком неопределенно «Возрождением», но что на самом деле было возрождением только язычества и вырождением христианства, – западноевропейское человечество, много раз пытаясь освободиться, в «политических» и «социальных революциях», помимо и против Христа, и все больше и больше отчаиваясь в свободе, впадало снова, все глубже и глубже, – вывих за вывихом, извращение за извращением, – в «первородный грех» – волю к рабству, пока, наконец, в строящейся на месте Церкви абсолютной государственности наших дней, на всем ее протяжении, от диктатуры кесарей до диктатуры пролетариата, эта воля к рабству не усилилась так, как еще никогда за память всемирной истории, – ни даже в древних абсолютных монархиях Египта, Вавилона и Рима. Люди сами в цепи идут, жаждут рабства неутолимо; чем ига тяжелее, тем ниже и мягче гнутся

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
шеи рабов, так что, наконец, самым мертвым и холодным из всех человеческих слов сделалось в наши дни некогда самое живое, огненное слово Духа: Свобода.

Бывшая христианская, пусть еще не свободная, но уже освобождавшаяся Европа задыхается в рабстве сейчас, с таким же сладострастным упоением, как любовница – в объятиях любовника. Но, когда, в последнюю минуту перед тем, чтоб задохнуться до смерти, может быть, узнает она, кто ее возлюбленный, то упоение делается ужасом. И если чудом Божьим будет спасена Европа и разомкнутся, на шею почти задушенной, пальцы дьявола, то, с первым глотком воздуха, вспомнит она, что такое Свобода.

Только тогда, наконец, после семивековой глухоты и забвения будет услышан великий пророк свободы, Иоахим.

## XVI

Есть ли христианство все, чем жило, живет и будет жить человечество? Нет ли чего-то до христианства и за христианством; нет ли по сю и ту сторону его какого-то древнего, забытого, и нового, неизвестного, религиозного опыта? Вот вопрос, поставленный за семь веков до нас Иоахимом и встающий перед нами сейчас грознее, чем когда-либо.

Многое еще имею возвестить вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух... то откроет вам всю истину...

и будущее возвестит вам (Ио. 16, 12–13).

Эта-то еще для людей невместимая и потому, во Втором Завете Сыном еще не открытая Истина и есть Третий Завет – Царство Духа – Свободы.

Судя по тому, что сейчас происходит в религиозно-пустом и все более опустошаемом, растущую волею к рабству одержимом, человечестве, мало надежды на то, чтобы оно могло спастись, без новой сверхъестественной помощи, такой же, как та, что была ему послана в воплощении Сына Божия: начал спасение мира Отец; продолжает Сын; кончит Дух.

Это и сказал Иоахим, за семь веков до нас, и хотя погибал так же, как мы погибаем, но уже видел то, чего мы еще не видим, – единственную для мира надежду спасения – Третий Завет.

## XVII

«Дух – Свобода», к этим двум словам сводится весь бесконечно в христианстве новый и в необозримых творческих возможностях действенный религиозный опыт Иоахима, – на очень большой и людям наших дней, с их волею к рабству, неизвестной глубине, а на глубине еще большей и неизвестнейшей сводится он к одному-единственному слову: Три.

В первом понятии геометрической точки заключено все будущее трехмерно-пространственное познание мира. Геометрия: движущаяся точка – линия; движущаяся линия – плоскость; движущаяся плоскость – тело. Так же и вся будущая религия Духа – Свободы – заключена в этом первом понятии, пронзающем сердце Иоахима: «Три».

Люди не могли бы объяснить двумерным, абсолютно плоским существам, что значит геометрическое тело; или что такое высота и глубина; или как можно двигаться вверх и вниз. Точно так же и существа четырехмерные не могли бы объяснить людям, что значит то «тело духовное», pneumaticon, о котором говорит Павел, и почему для этого тела «верх» и «низ» – одно и то же; или как в простейшем опыте «левая перчатка надевается на правую руку»; и почему в опыте нисходящего к Матерям, Фауста, «опускаться» – значит «подыматься» и наоборот; и почему царство Божие наступит тогда, по «не записанному» в Евангелии слову Господню, «Аграфу», когда «верхнее делается нижним, и нижнее – верхним».

В первом объяснении – трехмерности – плоским существам, – вся Евклидова геометрия ни к чему не послужила бы, а во втором объяснении – четырехмерности – людям вся метагеометрия Лобачевского тоже не послужила бы ни к чему, без предварительного, физически-метафизического опыта.

Чувственное, прямое и положительное знание о том, что такое «четвертое измерение», нам недоступно; но отрицательно и символически предчувственно мы кое-что о нем узнали бы, если бы могли себе представить, что значило бы для нас сделаться из «трехмерных», высоких и глубоких существ существами абсолютно плоскими, двумерными; если бы мы могли себе представить ужас как бы расплющения под неимоверною тяжестью и то, как, лишившись физической свободы движения вверх и вниз – символа бесконечной свободы метафизической (в выборе «добра» и «зла», в том, что мы называем «свободой воли»), мы обрекли бы себя на движение по абсолютной плоскости, гнусное пресмыкание, ползание, – символ рабства бесконечного (ужас равный испытал бы, может быть, Ангел, превращаясь в насекомоподобного, плоского дьявола). Только по



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
этому ужасу оставленной нами позади «двухмерности», плоскости, – рабства – мы могли бы отчасти судить о том блаженстве свободы, какое мы испытали бы, если бы перешли из нашего мира, трехмерного, все еще сравнительно плоского, рабского, где и самый полет – только побеждаемое, но не побежденное падение, – в тот «четырёхмерный», бесконечно-свободнейший мир окончательно побежденных глубин и высот, где уже «ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не отлучат нас от любви... во Христе» (Рим. 8, 39) и от свободы в Духе.

Здесь геометрия становится уже религией, – может быть, тою геометрией Божественного зодчества, по которой строятся миры; и восходящая лестница наших измерений гео

кажется, именно таков подлинный нашими словами сказанный, религиозный опыт Иоахима, – новый не только в христианстве, но и во всех религиях, – опыт «трех состояний мира», *tres status saeculi*. [31] Ясного понятия о том, что ожидало бы нас, если бы мы перешли из «второго состояния мира», – «царства Сына», в «третье состояние», – «царство Духа», не может, конечно, дать нам Иоахим, без пережитого нами соответственного опыта – пронзающей сердце молнии Трех; он может только дать это смутно почувствовать – «увидеть, как сквозь тусклое стекло», – в религиозных символах, симфониях, созвучиях, «согласиях», *concordia*, Трех Заветов, – что он и делает.

### XVIII

Символы эти в Иоахимовом «Истолковании Апокалипсиса» следуют тройными рядами – созвучьями, сливаясь в одну божественную симфонию Трех.

«В первом Завете, Отца, – ночь; во втором Завете, Сына, – утро; в третьем Завете, Духа, – день».

«Звездный свет, ночной, – в первом; во втором – сумеречный; солнечный – в третьем».

«Всходы зеленеющие – в первом; во втором – колосья; в третьем – пшеница».

«В первом – крапива; розы – во втором; в третьем – лилии».

«Старцы – в первом; во втором – юноши; дети – в третьем». [32]

Мир для Иоахима не стареет, как для нас, а молодеет: старец – мир становится юношей; юноша – младенцем, и младенец снова рождается.

Если кто не родится (снова) от Духа, не может войти в царство Божие (Ио. 3, 5).

Это, кажется, первый из людей понял Иоахим, как закон для жизни не только человека, но и всего человечества. Мир движется во времени вперед, а в вечности – «вперед» и «назад» вместе, потому что в Третьем Царстве Духа, или в «четвертом измерении», по геометрическому символу, – все, что «впереди», то и «позади»: бывшее, райское утро, детство мира, есть и будущее царство Божие.

Или в ином порядке символов: «В первом Завете – вода; во втором – вино; в третьем – елей».

Или еще в ином порядке: «В бывшем состоянии мира, *status totius saeculi*, – земля; в настоящем – вода; в будущем – огонь». Gherardo da San Donnino. *Introductio in Evang. Aetern.* (Manouscr. Sorbon.). Fol. 100. verso: «*vocat terram scripturam prioris Testamenti, aquam scripturam Novi Testamenti, ignem vero scripturam Evangelii Aeterni*». Третий Завет для Иоахима и есть «Вечное Евангелие». Твердое, как земля, неподвижное – в Отце; движимое, текучее, как вода, – в Сыне; движущее, воздушное («газообразное», по-нашему), как пламя, – в Духе. [33]

Или еще в ином порядке: семя в земле – мир, в Отце; росток во влаге – человек, в Сыне; растение в солнце – человечество, в Духе.

«В Ветхом Завете – страх; в Новом – вера; в будущем – любовь». Или еще в ином порядке: «Рабство – в Отце; послушание – в Сыне; в Духе – свобода». [34]

Так, неподвижная ось, на которой все в Боге и в мире движется: Три, а всего мирового движения последняя цель: Свобода.

Вся эта музыка символов ничего, конечно, не скажет тому, у кого не было соответственного религиозного опыта, хотя бы только в первой точке его; но у кого он был, для того она внятна, как родной язык на чужбине или далекого друга во сне услышанный зов.

### XIX

К Сыну может привести только Отец; к Духу – только Сын: вот почему Третье Царство – Духа есть вечное дело Сына, в Духе – «Вечное Евангелие», *Evangelium Aeternum*, – то самое, которое и мы читаем, – но уже возвещаемое не только в слове, а в слове и в деле. Сказанное Евангелие – «временное»;

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoffo.org  
сделанное – «вечное». То – все еще только мертвая буква, Закон; это – Дух Живой – Свобода; [35] «то претворяется в это, как на браке в Кане Галилейской, вода – в вино». [36]

«Двух Заветов, первого и второго, согласие несомненно, – учит Иоахим, – потому что вывод из обоих – одно разумение (откровение) Духа Святого». [37] «Третий Завет, исходящий от двух первых, как Дух исходит от Отца и Сына, и есть Вечное Евангелие», уже «не Церкви, а Царства, *Evangelium Regni*, то самое, что возвестил Иисус». [38]

Царство Божие только на земле исполняется, в Ветхом Завете Отца, в иудействе; в Новом Завете Сына, в христианстве, – исполняется Царство Божие только на небе; а в будущем Завете Духа исполнится оно «на земле, как на небе». Вечная молитва Сына в Духе: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», – и есть «Вечное Евангелие Духа Святого», *Evangelium Spiriti Sancti*. [39]

Только два Лица Божия – Сын и Отец увидены христианством во временном, историческом, известном нам Евангелии, а в неизвестном, апокалипсическом, Вечном, – увидены будут все три Лица: Отец, Сын и Дух.

Когда Господь заповедал ученикам в последнем на земле сказанном слове: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого (Мт. 28, 19), – Он заповедал им благовествовать не временное Евангелие – Двух, а Вечное – Трех.

XX

Ближе всего к нам и легче всего мог бы нами понят Иоахим в ответе на то, что мы называем так плоско и недостаточно, потому что нерелигиозно, «социальной проблемой». За семь веков до нас понял он то, чего и в наши дни почти никто не понимает, – что страшный узел «социального неравенства», который именно в наши дни грозит, затянувшись в мертвую петлю, задушить человечество, может быть развязан уже не в христианстве, как все еще многие христиане думают, а в том, что за христианством, – в «Третьем Завете».

В личном спасении, в правде о человеке, – главная сила святости христианской, Новозаветной, а Третьезаветной – в правде о человечестве, в спасении общественном. «Вся жизнь Града Божия будет общинной, *socialis*», – мог бы согласиться с Августином Иоахим. Общество человеческое строится в Третьем Завете по образу того, что св. Тереза Испанская называет «Божественным Обществом», – Троицы: сплавить все металлы человеческие – церкви, государства, народы, сословия («классы», по-нашему) – в один нужный для царства Божия, сплав все та же молния – Три.

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я – в Тебе, так они да будут в нас едино (Ио. 17, 21).

Только в Третьем Царстве, Духа, совершится этот «великий переворот», – совсем, совсем иной качественно, чем тот, что мы называем «социальной революцией». Собственники – «богатые, великие, сильные мира сего, – учит Иоахим, – будут низвергнуты, а нищие, малые, слабые, возвышены.. И увидят они, наконец, правосудие Божие, совершенное над их палачами и угнетателями руками неверных». [40]

Для Иоахима, так же как для Августина, «кто владеет лишним, – владеет чужим»; «частная собственность – закон человеческий, общая – закон божественный». Иоахим – такой же «противособственник», «общинник», «коммунист» во имя Христа, как Арнольд Брешианский, Пьетро Вальдо, св. Франциск Ассизский, – все «люди Духа», *virī spirituales*, XI–XII века, но с тою существенной разницей, что он один знает, что «этот великий переворот», который заменит частную собственность общю, совершится уже не в христианстве – «втором состоянии мира, водном», а в «третьем, огненном», ибо «небеса и земля, составленные из воды и водою.. сберегаются огню, на день Суда» (II Птр. 3, 5–7).

Только тогда, после того «великого переворота», наступит покой субботний, – мир всего мира, всех войн конец, и воздвигнуто будет из новых камней, на развалинах старого «Града человеческого – диавольского („*civitas hominum – civitas diaboli*“, по Августину), тысячелетнее Царство Святых на земле». [41]

XXI

Ближе всего к нам и легче всего мог бы нами быть понят Иоахим и в ответе на вопрос о том, что мы называем тоже неверно и недостаточно, потому что слишком «вторично», «водно», а не «третично», «огненно», – «соединением Церквей».

За семь веков до нас понял Иоахим то, что, кажется, «последние христиане» наших дней начинают понимать или скоро начнут, – что

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
христианство может быть спасено не одной из двух поместных Церквей, Восточной или Западной, и не одной из бесчисленных церквей, в Протестантстве-Реформации, а только единою Вселенскою Церковью, потому что вся нисходящая за второе тысячелетие линия христианства есть не что иное, как медленный провал в пустоты, зазиявшие после Разделения Церквей.  
«Нынешняя Римская Церковь, в своем земном владычестве, есть Вавилон», – говорит Иоахим теми же почти словами, как через полтора-два десятилетия скажут Лютер и Кальвин.[42] Нынешние прелаты Римской Церкви, «друзья богатых и союзники сильных мира сего, истинные члены синагоги сатанинской, возвещают и готовят пришествие Антихриста».[43] – «В Риме уже родился Антихрист и скоро воссядет на престол римского первосвященника».[44] – «Нынешнее состояние Церкви должно измениться, *commutandum est status iste Ecclesiae*».[45] Дни Римской церкви сочтены: так же, как новый Град Божий – на развалинах старого Града Человеческого, «воздвигнута будет и новая Вселенская Церковь, на развалинах старой Церкви Петра».[46] Дышит дух уже и сейчас в Церкви Восточной и влечет ее к Западной. Когда же обе поместные Церкви соединятся в одну, Вселенскую, то «войдут в нее Иудеи, войдут и язычники», да будет воистину «един Пастырь и едино стадо», а не так, как теперь, – множество стад и пастырей множество.[47]  
Вместо «Церкви священников» будет «царство Святых». Старое священство Петра уступит место новому, ибо «все наследие Петра перейдет к Иоанну».[48]  
«Будут ли римские первосвященники скорбеть о своем упразднении?.. Будут ли противиться тому, чтобы частное (поместное) совершенство, Церкви, *particularis perfectio*, заменилось общим, вселенским, *universalis*?»[49] Будет ли Петр противиться Иоанну? «Да не будет, да не будет, да не будет, сего! *Absit, absit, absit hoc!*» – заклинает Иоахим в вешем ужасе возможное столкновение бывшей Церкви с будущей, Петра с Иоанном;[50] но не заклянет: около 1250 года, того самого, который предсказывал Иоахим, как роковой для Церкви и мира «апокалипсический», – произойдет первое столкновение, а второе – через три века, в Протестантстве Реформации.

## XXII

Очень верно почувствует Римская церковь или, точнее, Римская курия, в лице Святейшей Инквизиции 1255 года, в городе Ананьи (Anagni), грозную для себя опасность в Иоахиме. Этот тишайший «Ангельский учитель» в самом деле страшнее для Церкви – не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-врывчатей, буйного и шумного Лютера: только одно отрицание старого – обращенное к Церкви голое «нет» – у Лютера, а у Иоахима – «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Вот почему Церковь не посмеет его отлучить и анафематствовать открыто, как это сделает с Лютером; так мы не смеем уронить или ударить молотком начиненную динамитом бомбу. Только учеников Иоахима Церковь или опять-таки, точнее, Римская курия будет отлучать и сжигать на кострах беспощадно, а его самого будет замалчивать и мягкой рукою душить, где-то в углу, не в Риме, а в городке Ананьи. Мягкою тоже и «ученой рукою», *docta manu*, подчеркнет св. Фома Аквинский в книгах Иоахима неблагоприятные по «ереси» места, готовя «Вечное Евангелие» к огню Инквизиции;[51] у, «Евангелие Духа Святого» «ядовитым учением», *doctrina venenata*. [52]

## XXIII

Верно и глубоко поняли судьи-инквизиторы, в страшной для них свободе Иоахима, возможность «революционного» взрыва. «Вечное Евангелие» внушало им такое же чувство, какое испытывают люди, ходящие с зажженной свечой в пороховой погреб; а через семь веков, с крайне противоположной точки зрения, по закону «сходящихся крайностей», испытает точно такое же чувство Ренан.

«Если бы, – говорит он, – все разумные силы порядка, в XIII веке, – Римская церковь, Парижский университет, Братство св. Доминика (отца Святейшей Инквизиции), гражданская власть – силы, столь часто враждовавшие, не соединились против этой дерзновеннейшей из всех попыток религиозного творчества, какие сделаны были в христианстве за последние века, то она изменила бы все лицо мира... Но как для нас ни возмутительна свирепая жестокость, с какой подавлено было это странное учение... надо все же признать, что истинный прогресс был не с ним, а с параллельным движением, увлекавшим умы к науке, к политическим преобразованиям и к окончательному установлению светского общества. Можно было уже и тогда, в 1255 году (год свирепейшего гонения на учеников Иоахима), предвидеть, что прогресс, как люди наших дней понимают его, идет не снизу, а сверху, не от воображения, а от разума, не от вдохновения, а от здравого смысла, ибо никакими

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
человеческими усилиями не могут быть отодвинуты границы возможного». [53]

Вывод из всего этого, неизбежный логически, хотя Ренаном и умолчанный, – тот, что «истинный прогресс» оказался не на стороне Иоахима, который пусть «безумно», «невозможно», но все-таки хотел свободы, а на стороне Инквизиции, которая жгла людей на кострах за желание свободы; а довольно пустая оговорка о «возмутительно свирепой жестокости» врагов Иоахима (как будто и «прогресс» не бывает иногда «свирепо-жесток») ничуть не отменяет этого чудовищного вывода. Чтобы дойти до него, надо было Ренану, опять-таки по закону «сходящихся крайностей», почувствовать к Иоахиму, пророку свободы со Христом, а не помимо и не против Христа (в этом, конечно, все дело), такое же отвращение, смешанное с ужасом, какое чувствовали к нему и судьи-инквизиторы XIII века.

Но люди XX века, накануне совсем иного, хотя, может быть, не менее, а более страшного, «революционного взрыва» – «изменения всего лица мира», которого хотел Иоахим, уже не могут радоваться так, как люди XIX века в лице Ренана, что «всеми разумными силами порядка уничтожена эта дерзновеннейшая попытка религиозного творчества» и «лицо мира» осталось неизменным, вплоть до первой Великой Войны, и останется, вероятно, неизменным, вплоть до второй, когда, может быть, вдруг изменится оно в лицо премирного хаоса.

#### XXIV

«Столько же я забочусь об Иоахиме, сколько о пятом колесе в телеге, de quinta rota plaustrī!» – говаривал один слишком остроумный монах XIII века, – может быть, слишком ранний поклонник «истинного прогресса», в духе ышим. Но если в течение этих веков христианское человечество как будто возвышалось, а на самом деле падало духом все больше и, кажется, в наши дни пало, как еще никогда (а пасть духом в жизни человечества, так же как в жизни человека, – значит быть на краю гибели), то, может быть, потому, что столько же заботилось и заботится не только об Иоахиме, великом пророке Духа, но и о самом Духе, как о «пятом колесе в телеге».

Мертвое молчание веков и нашего, такого на все пустые шумы отзывно-гулкого, века, особенно мертвое, – есть лучшее доказательство того, что самое людям ненужное сейчас, самое забытое, презренное, неузнанное, неузнаваемое, – Дух.

#### XXV

«В 1260 году кончится второе состояние мира», водное, и «начнется третье», – огненное, «с могущественным действием Духа Святого», – предсказывал Иоахим в канун смерти своей (в 1202 г.) и рождения нового века, которому суждено было сделаться, как думал он, началом «тысячелетнего Царства Святых на земле» – «Третьим Царством Духа». Если в этом предсказании своем он как будто ошибся, страшно для себя, а для семи грядущих веков смешно и жалко, то ведь и сам Иисус как будто ошибся страшно для Себя, а для двадцати грядущих веков жалко и смешно, когда предсказывал: ...некоторые из стоящих здесь... не вкусят смерти, как уже увидят Сына человеческого, грядущего в Царстве своем (Мт. 16, 28).

Но эта кажущаяся ошибка обоих, только во времени, в Истории, – непреложная истина, в соединении времени с вечностью, Истории с Мистерией. Царство Божие могло наступить и уже наступало тогда, в 30-х годах I века; так же могло оно наступить и уже наступало в 30-х годах XIII века; судя по тому, что и в эти дни, так же как в те, точно иная, от иной планеты идущая, сила вмешивалась в действие земного притяжения, – снова приближалось и во дни Иоахима, как тогда в дни Иисуса, великое светило Конца, – «третье, огненное состояние мира». Это и значит: «если бы все разумные силы порядка, в XIII веке, не соединились, чтобы уничтожить эту дерзновеннейшую попытку религиозного творчества» (Иоахимово «Вечное Евангелие»), – как бы иную, от иной планеты, великого светила конца, идущую силу притяжения, – то она «изменила бы все лицо мира»; или, другими словами: то, что Иоахим предсказывал и что, в полноте своей, исполнится только в соединении времени с вечностью, Истории с Мистерией, – в значительной мере исполнилось уже и во времени, в Истории.

Что это действительно так, еще яснее видно из того, что почти в те самые дни, когда Иоахим предсказывал «скорое могущественное действие Духа Святого», оно уже началось, неведомо для всех и для самого Иоахима, в духовном рождении величайшего из «людей Духа» в XIII веке, – св. Франциска Ассизского.

#### XXVI

Кажется, все в тот же канун смерти своей и рождения нового века, может быть, в родном городке своем, Челико, близ Козенцы, у подножья Студеных Альп Калабрии, в очень старой часовне или церковке полуроманского, полувизантийского зодчества, каких много было в норманском королевстве, на юге Италии, проповедовал однажды семидесятилетний старец, Иоахим, о Третьем Завете и скором пришествии Духа.

От сгустившихся на небе туч, под низко нависшими, точно гробовыми, сводами церковки, было темно, как ночью.

«В первом Завете, Отца, – ночь, – говорил Иоахим; – во втором Завете, Сына, – утро; в третьем Завете, Духа, – день»...

И, слушая, в ночи дневной, о солнце Вечного Дня, люди хотели поверить – проснуться, но не могли, как, может быть, мертвые, спящие в гробах, видя во сне – в смерти солнце жизни вечной, проснуться хотят, и не могут.

Вдруг солнце, прорезавшее тучи, залило всю церковку ослепительно хлынувшим из окон дождем лучей. И, остановившись на полуслове, Иоахим взглянул в ту сторону, откуда падали лучи, перекрестился и молча сошел с амвона; так же молча расступилась перед ним толпа и, когда он вышел из церковки, пошла за ним, как будто знала, куда он ведет ее и зачем. Лица у всех были неподвижны, широко открыты глаза, как у лунатиков: тою же таинственной силою притяжения неземного, как тех, – луна, этих влекло к себе солнце.

Молча пройдя через весь городок, где многие присоединялись к безмолвному шествию, так что толпа все росла и росла, вышли все в открытое поле, откуда виднелись вдали белевшие на густо-лиловой темноте уходящих туч снеговые вершины Студеных Альп. Молча взошел Иоахим на один из тех могильных курганов, каких было много в Калабрийских полях (в них покоились предки его, норманские викинги, дикие лебеди Севера), и, обратившись лицом к солнцу, подняв к нему руки, запел старчески тихим, в открытом поле, чуть слышным голосом:

Veni Creator Spiritus!

Дух Святой, прииди!

И, пав на колени, с лицами, так же обращенными к солнцу, и поднятыми к нему руками, вся толпа подхватила таким громовым, землю и небо потрясающим воплем:

Дух Святой, прииди!

что, казалось, вместе с нею молится не только все человечество, но и вся «совокупно стенающая тварь».

Люди смотрели на солнце так, как будто видели за ним иное незримое Солнце, перед чьим сияньем это, зримое, в блеске своем лучезарнейшем, – тьма, и молились на него так, что, казалось, «сам Дух ходатайствует» перед Отцом и Сыном, не только за людей, но и за всю тварь, «воздыханиями неизреченными». [54]

## XXVII

Это сделал Иоахим в канун смерти своей; то же делал он и во всю свою жизнь: вел людей из малой Церкви в великую, из темной – в светлую, из рабской – в свободную. «Дух Святой, прииди», – молился всю жизнь, и молитва его исполнилась: Дух снова, в те дни, сошел на людей так, как, может быть, еще, никогда после первого Сошествия в Сионской горнице; весь XIII век – как бы вторая Пятидесятница.

Сделался внезапно шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом (Д. А. 2, 2).

Бурное дыхание Духа наполнило, как сильный ветер, весь дом христианского человечества.

Сын Иоахима, в Духе, – св. Франциск. «Что такое Третье Царство Духа?» – спросил Иоахим; ответил Франциск.

## XXVIII

К Третьему Царству Духа ближе всех людей, потому что свободнее всех, после Иоахима, – Франциск. «Дух – Свобода»: этого не мог бы он сказать так, как сказал Иоахим, и, вероятно, даже не понял бы, что это значит. Но только в свете, падающем на Франциска от этого Иоахимова религиозного опыта, можно увидеть и понять до конца все, чем жил Франциск, и все, что он сделал.

«Вот когда наконец я могу сказать свободно: не отец мой, Пьетро Бернардоне, а Господь, Небесный мой Отец!» – первое слово Франциска, когда он начинает «жить по Евангелию», а последнее: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне умереть свободным от всего!» Между этими двумя освобождениями, – вся его жизнь и все его дело. «Будет Вечное Евангелие», –

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
не мог бы сказать Франциск и этого, как сказал Иоахим, и, вероятно, не понял бы, что это значит; но вся его жизнь – в этом.

Нам кажется Евангелие тем, что было и чего уже нет и, вероятно, не будет; а ему, – тем, что было, есть и будет всегда. Это и значит: наше Евангелие – временное, а его, Франциска, так же как Иоахима, – «Вечное».

Первое, невольное, самое искреннее, хотя почти никогда не признаваемое нами, потому что слишком стыдное и страшное для нас, впечатление от Евангелия: «этого сделать нельзя»; а такое же первое, невольное и самое искреннее впечатление Франциска: «это сделать, можно». За две тысячи лет христианства никто не доказал убедительнее, чем он, возможность Евангелия.

XXIX

В первом опять-таки, самом искреннем и невольном, впечатлении нашем, Евангелие – книга, написанная очень давно и не для нас; а в таком же первом впечатлении Франциска, Евангелие – вовсе не книга написанная, а только что ему самому сказанное и прямо из уст Говорящего им самим услышанное слово. В этом смысле можно бы сказать, что Франциск – не христианин, а ученик Христа, еще до христианства: между Христом и Франциском как бы вовсе нет времени – истории, нет христианства, нет Церкви.

«Что мне делать, как жить по Евангелию, – это я не от людей узнал; это мне сам Бог открыл», – скажет Франциск, умирая, о всей своей жизни.[55] «Я не от людей узнал» значит: «и не от Церкви». Вывода этого сам Франциск не сделает, и если бы его кто-нибудь сделал за него, то он ужаснулся бы; но вывод из всей его жизни – этот.

Если не Церковь – от Христа, а Христос от Церкви, как это утверждается более или менее сознательно, в обеих Церквях, Восточной и Западной, то, «как жить по Евангелию», люди от людей узнают и в Церкви, внешним только, рабским знанием; а Франциск, так же как Иоахим, так же как Павел, это узнает внутренним, свободным знанием, от самого Христа Освободителя.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей...

благоволил открыть во мне Сына своего... я не стал...

советываться... с плотью и кровью (человеческой)...

и не пошел в Иерусалим... к Апостолам, – к Церкви, – мог бы сказать и Франциск вместе с Павлом (Гал. 1, 15–17) о первой половине жизни своей; когда же во второй половине пошел-таки в Рим, в Церковь, то едва себя и дела своего не погубил; только тем и спасся, что кончил так же, как начал. «Это (Евангелие) я не от людей узнал; это мне сам Бог открыл», – сказал, умирая.

Не было ни у кого, после человека Иисуса, более глубокого, первичного и совершенного знания, чем у Франциска, что Бог есть Отец, а человек – сын, и потому не раб, а свободный.

Раб не пребывает в доме вечно; вечно пребывает сын. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ио. 8, 35–36), – этого, после Иоахима и Павла, никто из людей не понял лучше Франциска. Внутреннейшее существо христианства, Богосыновство, не было ни для кого в большей степени, чем для него, откровением Свободы.

XXX

Первая исходная точка Евангелия – освобождение от страха смерти, начала всех рабств.

Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, ради Меня, тот обретет ее (Мт. 16, 25).

Что это значит, никто из людей не понял лучше Франциска.

Первая, главная и, в сущности, единственная заповедь Божья человеку: «Будь». – «Я есмь» – первое, чистое, голое, от всего освобожденное, бытие в Боге – «Сущем» (Jahwe) и в человеке, есть блаженство: Бог всеблажен, потому что есть.

Если я есмь только потому, что живу, то я несчастнее всех тварей: те не знают, что с концом жизни наступит для них конец бытия, а я знаю. Но если я живу потому, что я есмь, и знаю, что с концом жизни наступит для меня бытие, то я всех тварей блаженнее, потому что те этого не знают, а я знаю.

И доколе не постигнешь

Этих слов: «умри и будь»,

Только темным гостем в мире

Будешь проходить свой путь, – понял Гёте, великий язычник, лучше многих христиан, но не сделал, потому что, без Христа, этого сделать нельзя.[56]

Если бы человек мог увидеть закрытое от него жизнью бытие, то понял бы, что, кончив жизнь, начнет бытие; умрет – будет; душу свою потеряет – найдет.

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoff.org

«Жить или быть?» – надо людям сделать выбор, но никто не делает; Франциск сделал.

«Смерть будет для тебя бесконечною радостью», – скажет умирающему Франциску один из учеников его, [57] можно бы сказать и Франциску живущему: «Вся твоя жизнь – бесконечная радость». Каждую минуту жизни своей, душу свою он терял – находил; «умирал – был».

XXXI

Первое, что отделяет человека от бытия, – страх смерти: душу свою потерять – лишиться жизни; а второе – страх бедности: собственность потерять – лишиться того, что нужно для жизни. «Что нам есть, что нам пить и во что одеться?» – этими страхами жизни, – бесконечными дробями единицы смертного страха, – закрыто от человека бытие, как вечно голубое небо – серыми мглами и тучами.

Но если мнимую душу свою, жизнь, потерять – значит истинную душу, бытие, найти, «умереть – быть», то и мнимую собственность, – нужное для жизни – потерять – значит нужное для бытия – действительную собственность найти, – «сокровище» не только на небесах, но и здесь еще, на земле, ибо «нет никого, кто оставил бы дома... или земли (мнимую собственность), ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов и земель, а в веке грядущем жизни вечной» – бытия (Мк. 10, 29–30).

Самое общее, не собственное, всем равно принадлежащее, – воздух, вода, свет, – самое драгоценное; а за этим еще более общее, драгоценное – жизнь; а за жизнью еще более общее, драгоценнейшее – бытие.

Вот почему «блаженны нищие» значит: «блаженны сущие», – те, кто, потеряв душу свою, жизнь, обрел бытие. Это единственный способ врачевания от гложущей наши сердца страшной болезни – собственности; возвращение от жизни к бытию; пробуравление как бы артезианского колодца в пустыне, сквозь мертвые пески жизни, к живым родникам бытия.

Вот почему «блаженны нищие» значит: «блаженны свободные» – от рабских, из железа собственности скованных цепей.

Понял это Франциск, как никто.

XXXII

«Нищий из нищих, нагой из нагих, даруй мне нищеты, наготы Твоей, неоцененное сокровище!» – вечная молитва Франциска. [58] «Голому, надо нести голый крест Господень», – скажет верный ученик его, Иоанн Пармский; [59] «надо кинуться нагим в объятья нагого Распятого», – скажет сам Франциск. [60] Быть «нагим» – и значит быть «свободным»; метафизическое чувство свободы, в религиозном опыте Франциска, подобно чувству наготы физической.

«Братьям иногда трудно было сделать, чтобы Блаженный сохранил хоть какую-нибудь одежду на теле: так охотно отдавал он все, что имел, до последней рубашки», – вспоминает легенда. [61] Так же естественно, легко и блаженно отказывается, освобождается он от собственности, как человек скидывает с себя одежду, обнажается, в знойный день, чтобы войти в студеную воду. Чем беднее – голее, тем блаженнее, свободнее, прохладнее от главного, иссушающего зноя жизни – собственности.

В бедность возвращается он, как в родную стихию; чувствует себя, в нищете, нагоде, как рыба в воде и птица в воздухе; а в собственности, – как рыба в сетях и птица в клетке. Звери лучше людей для него тем, что проще, беднее, обнаженнее, ближе к бытию, чем к жизни, – свободнее, блаженнее.

Жаждет быть в нищете – нагоде совершенной, как младенец в колыбели или Адам в раю.

XXXIII

В этом-то религиозном опыте освобождения духовный сын Иоахима, хотя и не узнавший отца своего и отцом не признанный, – Франциск.

«Истинный монах не должен иметь ничего, кроме гуслей», – говорит Иоахим; [62] то же мог бы сказать и Франциск. «Господи, благодарю Тебя за то, что я умираю свободным от всего!» – говорит Франциск; то же мог бы сказать Иоахим.

Нет никакого сомнения, что главное дело всей жизни Франциска – основание всемирного Братства нищих, от рабства собственности освободившихся людей, – Иоахим признал бы своим и, может быть, увидел бы в нем начало того, предсказанного им, «великого переворота», в котором частную собственность заменит общая (наша «социальная революция», совершаемая человечеством, «во

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
имя свое», противоположна этой, – совершаемой во имя Христа Освободителя:  
рабством кончается та, а эта – свободой).

В «Третьем Братстве» нищих увидел бы, может быть, Иоахим «Третье Царство Свободы»: *tertius Ordo – tertium Regnum*. Что это действительно так, видно из того, что лет через двадцать по смерти Франциска такие верные ученики его, как Иоанн Пармский и Герардо да Сан-Доннино, соединят его с Иоахимом: Третьего Завета пророк для них – Иоахим, а исполнитель пророчества – Франциск. [63]

Но если так для Иоахима, то для Франциска не так; сына своего духовного узнал бы Иоахим во Франциске, но тот не узнал бы в нем отца своего: та же между ними черта разделяющая, как между двумя Церквями – Западной, Римской, и Вселенской. Эту черту мог переступить Иоахим, но Франциск не мог; сердцем он уже христианин Церкви Вселенской, а разумом все еще только римский католик; дух его уже всемирный, а душа и тело все еще только западные, римские. Знал Иоахим, куда идет, а Франциск не знал. И если бы произошло то, что с таким ужасом заклинал Иоахим: «Да не будет сего! *absit hoc!*» – столкновение двух церквей, бывшей западной и будущей Вселенской, то, вероятно, не в ней с Иоахимом, а против него, в бывшей Церкви, оказался бы Франциск; и если бы знал, что, по Иоахимову пророчеству, «новая Вселенская Церковь» воздвигнута будет на развалинах римской Церкви Петра, то испугался бы этого так, что на костер Святейшей Инквизиции, на котором сжигалось «Вечное Евангелие», подложил бы дров.

Все это и значит: дело освобождения, начатое во Втором Завете Сына, могло завершиться только в Третьем Завете Духа.

XXXIV

Сами пророки иногда не знают, где, когда и как исполнится пророчество. Этого не знает, может быть, и Гёте, влагая в уста св. Франциска, «Отца Серафимского», *Pater Seraphicus*, в хоре небесных Сил, спасающих душу Фауста, – эти вещие слова: только в эфире свободнейшем... откровение любви. [64]

Гёте, может быть, еще не знал до конца, что это значит; мы уже знаем, или могли бы знать. Если погибающий Фауст – все отступившее от Христа человечество, то это значит: только тогда спасется оно, когда Завет Сына – Любовь исполнится в Третьем Завете Духа – Свободе; когда завершится то, что начал делать Франциск, в том, что предрек Иоахим.

XXXV

Внутренняя связь Иоахима с Франциском в религиозном опыте освобождения чувствуется лучше всего в двух легендах или, может быть, только на языке легенд рассказанных воспоминаниях о том, что ученики св. Франциска действительно от него слышали и видели в нем. Обе эти легенды – из венка уже поздних, осенних, но все еще неувядаемо свежих и подлинных Францисковым духом-дыханием напоенных «Цветочков», *Fioretti di San Francesco*.

«Дух – Свобода»: этот религиозный опыт Иоахима переживается Франциском в обеих легендах-воспоминаниях, как та «совершенная радость о Духе Святом», о которой говорит Павел и сам Иисус: когда же придет Он, Дух истины, то откроет вам всю истину...

чтобы радость ваша была совершенна (Ио. 16, 13–24).

Радость эта, по опыту Франциска, дается человеку тогда, когда он становится, говоря на языке Павла, из «психического», «душевного», – «пневматическим», «духовным», – из «животного», «живущего», – «сущим»; когда, переставая жить – умирая, он начинает «воскресать» – «быть».

Тот же религиозный опыт освобождения переживается Франциском, как, словами еще не выраженное, потому что слишком бессознательное, но уже несомненно подлинное, приближение к тому, что в Иоахимовом опыте предчувствуется, как «третье состояние мира, огненное», – «Третье Царство Духа».

Эти религиозные опыты переживаются Франциском вместе и одинаково, в обеих легендах, но в первой, – сильнее выражен опыт Духа – Свободы, а во второй, – опыт Духа – Огня.

Вот первая из этих легенд.

XXXVI

«Шел однажды, зимою, Франциск, с братом Львом, из города Перуджии в обитель Святой Марии-Ангелов, а на дворе стояла лютая стужа, и оба они до костей продрогли. И подозвал к себе Франциск шедшего немного впереди брата Льва, и сказал ему так: „Брат мой, Лев, запомни и запиши себе на память:



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
если бы все, по всей земле, Меньшие братья достигли высшей святости, – в чем да поможет им Бог, – это еще не было бы радостью совершенною!“

И, молча сделав несколько шагов, опять подозвал его: „Брат мой, Лев, если бы кто из Меньших братьев исцелял слепых, и немых, и глухих, и расслабленных, и бесов изгонял, и мертвеца воскресил четырехдневного, то и это еще не было бы совершенной радостью!“

И опять, пройдя немного пути молча, сказал: „Если бы кто из братьев, обладая даром пророческим, знал все тайны грядущих веков, то и это еще не было бы радостью совершенною!“

И в четвертый раз, подозвав его, воскликнул: „О, брат мой, Лев, овечка Божья, если бы кто-нибудь из нас говорил на языке ангельском и знал все тайны творения“...

И в пятый раз: „Если бы кто обратил ко Христу всех язычников, то и это еще не было бы совершенной радостью!“

Более двух верст уже прошли, а Франциск все так же подзывал к себе брата Льва, начинал говорить и не кончал, так что наконец тот, весьма изумившись, воскликнул: „Отец! скажи ты мне, ради Христа, в чем же радость совершенная?“

– В чем? А вот в чем, – ответил Блаженный. – Мокрые от дождя, грязные, голодные, придем мы в обитель ужо, и, если брат-привратник, не отворяя, крикнет нам в сердцах из-за ворот: „кто вы такие?“ – и мы ответим: „два брата из ваших!“ А он – нам, еще сердитее: „Лжете! много вас, дармоедов, бездельников, шляется; хуже воров, бедных людей грабят, выманивая милостыню!“ И, выругавшись так, уйдет и оставит нас в дворе, в снегу, в мокроте, в холоде и голоде. Когда же снова мы постучимся, – выскочит, вытолкает нас с крыльца, взашей, крича в ярости: „Вон! чтоб духу вашего здесь не было, мерзавцы!“ И когда уже наступит ночь, мы, в темноте, полузамерзшие и мучимые голодом, в третий раз начнем стучаться, плача и моля пустить нас ради Христа, чтоб где-нибудь только, в углу, на сухом месте, прилечь, – выскочит опять из ворот, кинется на нас, как бешеный, ругаясь дурными словами: „Ах вы такие-сякие, чтоб вас нелегкая! Ну погодите ж, проучу я вас, как следует!“ И, схватив нас за куколи, повалит в снег и в грязь е муки, вот это, это, это, брат мой, Лев, радость будет совершенная!» [65]

XXXVII

Кажется, и среднему человеку сравнительно легко увидеть если не глубоким, религиозным, то хотя бы только поверхностным эстетическим зрением, что эта новая радость – внутреннее солнце на посиневшем от холода человеческом теле, – прекраснее, чем та радость, древняя, – солнце внешнее на золотистом теле Парфенонских мраморов, – это увидеть и понять сравнительно легко; но что это возможно и действительно не только для одного из миллионов людей, – «Избранного», «Святого», а для всех, – это среднему человеку понять так же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Кажется, высшее, что среднему человеку здесь доступно, – увидеть только ослепительно, сквозь игольное ушко, сверкнувший луч солнца, умилиться, вздохнуть и «отойти с печалью» к единственно для него, среднего человека, возможному делу жизни – заботе о том, «что есть и пить и во что одеться» сегодня, и завтра, и во все дни жизни его, до конца, – потому что слишком очевидно, что среднему человеку делать с этим нечего.

Но вот что удивительно: раз увидев это, хоть издали, ослепившись этим, хотя бы сквозь ушко игольное, – это забыть так, как будто никогда он этого не видел, и среднему человеку невозможно; в памяти если не ума, то сердца что-то навсегда от этого останется. «Вот в чем радость будет совершенная», – кто бы это ни услышал из уст Франциска, – умный или глупый, добрый или злой, счастливый или несчастный, – если он только живой человек, – почувствует, хотя бы на миг, чтоб в следующий миг забыть, – что-то для себя действительно сущее; вспомнить, хотя бы только как бесконечно смутный, забытый сон, что это и с ним было когда-то и, может быть, снова будет. Очень вероятно, что он почти или даже совсем не услышит, что в этот миг скажет ему сердце, потому что к сердцу своему люди вообще глухи; но так же вероятно, что оно у него дрогнет, как сердце умирающего от жажды в пустыне – от вдруг услышанного шума вод подземных; дрогнет сердце его, и скажет: «Вот оно, вот чего я жажду!» И, как бы этого человек ни забывал, – вспомнит когда-нибудь и скажет себе, что прав был не он, а сердце его, несчастного, богатого, грешного, и сердце св. Франциска, блаженного нищего. Даром, во всяком случае, это ни одному живому человеку не пройдет, так же как не прошло и всему человечеству даром.

XXXVIII

В чем же внутренняя связь Франциска с Иоахимом в этом религиозном опыте? В том, что радость для обоих «совершенная», – в освобождении. – «О, брат мой, Лев... между всеми дарами... Духа Святого нет большего, чем победа человека над самим собою». Это и значит: кто победил себя, «душевного», собою же «духовным», «живущего» – «сущим»; кто – от себя, тот и от других уже ничего не боится, как Франциск в этой легенде; тот совершенно-радостен, потому что безгранично свободен.

Если, в этой первой легенде, религиозный опыт свободы переживается Франциском как то «прохладно-тихое веяние», дыхание Духа, которое испытал уже пророк Илья, на горе Хориве: после огня, прохладно-тихое веяние, и там – Господь (III Цар. 19, 12), – то, во второй легенде, тот же опыт переживается как «огненное» дыхание Духа – приближение к «третьему состоянию мира, огненному», по Иоахимову опыту, или по «незаписанному слову Господню», Аграфу:

близ Меня... близ огня,  
juxta me... juxta ignem.[66]  
Вот эта вторая легенда.

XXXIX

«Идучи однажды во Францию, блаженный Франциск с братом Массео собирали в одном селении милостыню так, что Франциск ходил по одной улице, а брат Массео – по другой. Будучи же людьми, не знавшими его, презираем за малый рост и вид невзрачный, Блаженный набрал только немного ломтей черствого хлеба да кое-каких кусочков другой жалкой снеди; а брат Массео, будучи и ростом высок, и лицом красив, получил гораздо больше кусков лучшего качества.

После того, сойдясь вне селения, нашли они источник с лежавшим у самой воды широким и гладким, прекрасным камнем и разложили на нем собранные куски. Видя же, что у брата Массео их больше и что они лучшего качества, возликовал духом Франциск и, горя любовью к святой нищете, сказал так: „О, брат Массео, мы недостойны такого сокровища!“ И, все возвышая голос, повторял: „О, какое сокровище! какое сокровище!“ Но брат Массео, весьма удивившись, сказал: „Что ты, отец, где же тут сокровище, когда ни ложки, ни плошки, ни кола, ни двора, ни слуг, ни служанок?“ – „Тем-то оно и драгоценно, это сокровище, что сделанного руками человеческими нет у нас ничего, а все, что есть, – этот сладчайший, ради Христа, нам поданный хлеб, и этот камень прекраснейший, и эта вода в роднике, чистейшая, – все Божье, и прямо из Божьих рук нам дано!“

И в радости, хлеба и прочей снеди вкусив и запив ее водою из родника, встали они из-за трапезы и, святую песнь воспев, продолжали свой путь. И, когда дошли до какой-то церкви, Франциск, войдя в нее и укрывшись за жертвенником, начал молиться. И в некоем видении божественном так воспламенился жаждой Святой Нищеты, что, выйдя к брату Массео, весь горел, пламеня в огне любви, и лицо его казалось огненным, и пламя как будто исходило из уст его. И трижды воскликнул он громким голосом: „А-а-а! Брат Массео, отдай же, отдайся мне весь!“ И на третий раз, изумленный таким пламенением, брат Массео кинулся к нему в объятья. Он же, с широко открытыми устами и продолжая пламенеть Духом Святым и восклицать: „А-а-а!“ – поднял его на воздух одним дыханием уст своих и откинул на длину копья. И в ту минуту брат Массео почувствовал, как сам потом вспоминал, такую радость о Духе Святом, какой никогда еще в жизни не чувствовал». [67]

Точно молнией силы разряд «откидывает» брата Массео «на длину копья», может быть, потому, что и здесь происходит нечто подобное тому, что происходило в Сионской горнице, при первом сошествии Духа, когда вспыхнули вдруг, как в сильнейшей грозе, над головами Апостолов, языки молниенного пламени.

«Духом Святым пламенеет Франциск; радуется о Духе Святом» и брат Массео, потому что все, что здесь происходит, есть явление «Духа-Огня», или приближение к тому, что в Иоахимовом религиозном опыте предчувствуется как «третье, огненное состояние мира».

XL

«Вот оно, нищеты всеблаженное сокровище, такое чистое золото, что люди недостойны носить его в бедных глиняных сосудах – телах своих, – заключает Франциск. – Вот сила, которой побеждается все, что мешает людям идти к Богу свободно!» [68] «Свободно», – в этом слове здесь главное – то самое, что соединяет Франциска с Иоахимом в «Третьем Царстве – Свободы».

Только в эфире свободнейшем... откровение любви, – совершенная радость о

Духе Святом.

«Дух – Свобода – Огонь»: в этом религиозном опыте, уже почти геометрически для нас очевидно, оба они, Иоахим и Франциск, стоят на какой-то последней, между двумя Царствами, черте – между «вторым состоянием мира, водном», и «третьим, огненным», – на какой-то соединяющей их точке, – последней Второго Завета и первой – Третьего.

Этого Франциск еще не видит, но видит уже Иоахим. А если бы и мы это увидели, то, может быть, поняли бы их обоих, и, главное, поняли бы то, чем эти двое нищих, свободных, блаженных, нужны таким богатым и несчастным рабам, как мы.

Темную волю Франциска освещает Иоахим ярчайшим светом сознания – догмата; освещает и все движение Духа в человечестве, от Иисуса Неизвестного к нам.

Только увидев это движение Духа, можно понять и жизнь Франциска.

## II. ЖИЗНЬ ФРАНЦИСКА

### I

Случай или Промысел? – этот вопрос внушается столькими же «случаями» в жизни Франциска, как в жизни Павла и Августина, и так же трудно здесь, как там, ответить на него: «случай». – «Может быть, все, что люди называют „судьбой“, „случаем“, управляется каким-то тайным порядком», – делает Августин последний вывод из всего, что было с ним в жизни; [69] тот же вывод можно бы сделать из жизни Франциска.

В 1182 году, в Италии, – в те самые дни, в той самой стране, когда и где начинает Иоахим проповедь «Вечного Евангелия», рождается его исполнитель, св. Франциск Ассизский.

Отец будущего «противособственника», «блаженного нищего», – великий приобретатель и собственник, богатейший купец Пьетро Бернардоне: если надо было Франциску от чего-нибудь оттолкнуться с наибольшей силой, чтобы приобрести и силу движения наибольшую, то лучшего отца для него нельзя себе и представить.

Будет Франциск всю жизнь «играть»; «игрецом», «скоморохом Божьим», *joculator Dei*, сам себя назовет; [70] и уже в самом рождении как будто играет с ним Кто-то: будущий любитель наготы родится в лавке купца, торгующего тканями, – тем самым, чем нагота покрывается, и жизнь Франциска начнется с того, что будет и он покрываться роскошными тканями.

Также и в двух именах его как будто играет с ним Кто-то. Одно из них, явное, памятное всем: «Франциск», – не имя, а прозвище (до св. Франциска, такого христианского имени не было вовсе). Маленького сына часто брал с собой отец в торговые поездки по Южной Франции, где тот научился французскому языку и обычаю так, что сделался похож на французского мальчика, за что отец и дал ему это прозвище: «Франциск», *Francesco*, значит «маленький французик». Памятное всем, явное, второе имя его: «Франциск», а первое, тайное, данное матерью сыну, родившемуся, в одну из торговых отлучек отца, – тоже и так же всеми забытое, как первое имя Иоахима, – «Иоанн», в память Иоанна Предтечи. В этом совпадении первых тайных имен – как бы вещей знак того, что будет и Франциск-Иоанн таким же Предтечею Духа Святого, как Иоанн-Иоахим. [71] Чьей-то игры божественная улыбка скрыта, может быть, и в этом таинственном знаке.

### II

Злом помянет легенда отца Франциска; но зла никакого не сделал он сыну, а сделал, может быть, сам того не зная и не желая, добро величайшее: дал ему свободу.

Судя по тому, что Франциск останется на всю жизнь полуграмотным (даже писать не научится как следует: в письмах будет ставить вместо подписи крестик), он почти ничему не учился ни в школе, ни дома, пользуясь, вероятно, тем, что отец не принуждал его к учению. [72] И это пойдет ему впрок: книжною пылью науки тех дней – схоластики – не засорит он ни ума, ни сердца.

С детства праздно живет, беспечно и лениво, – свободно; растет не как

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
садовый, на грядке, а как дикий в поле цветок. Лучшая для него наука не в школе, за книгой, а в жизни, с людьми – особенно в частых торговых поездках с отцом по югу Франции: рыцарские были и сказки, фавлю и сервенты, бродячих певцов-трубадуров и скоморохов, на больших дорогах и ярмарках, – в детстве; а в юности – то «веселое знание», *gaia scienza*, что процветает в «школах любви», *cours d'amour*, при дворах провансальских владетельных князей и норманских королей Сицилии. В тех же, может быть, «школах любви» тому же «веселому знанию» учился, до Франциска, Иоахим; «скучное знание», схоластику, ненавидят оба одинаково. [73]

В тайной глубине этого «веселого знания» – неземная любовь к «Прекрасной Даме», *Gentile Donna*, с неутолимою грустью, слезами и вздохами, а на поверхности, – любовь земная, с веселием легким, как пена играющих вин, «шутовством» и «скоморошеством». [74]

«Маленький Французик», сын купца-мещанина, подражая во всем придворным любезникам и щеголям в «школах любви», – «знать ничего не хотел, кроме веселостей, шалостей, игр, ночных пиров и щегольства, в развешивающихся, женоподобных одеждах», – вспоминает легенда. [75] Сам научившись «веселому знанию», учит ему и других, таких же, как он, сыновей богатых ассизских купцов и мещан. А так как он превосходит их всех вельможною щедростью и великолепьем пиров своих, то они избирают его своим шутовским «королем». [76] И он этим очень доволен, или кажется только довольным, потому что никогда нельзя наверное знать, действительно ли он чувствует то, что показывает, или только смеется над людьми и над собою, – «юродствует».

В знак своего «королевского достоинства» шьет себе роскошное платье из разноцветных шелков, зеленых и розовых, голубых и желтых, крест-накрест; только острого колпака с бубенчиками недостает, чтобы имел вид настоящего придворного шута или одного из провансальских бродячих певцов-скоморохов. [77]

Ночью вельможа, а днем приказчик в лавке отца, где торгует «французскими сукнами», *rappi Franceschi*. Ловок и сметлив в торговых делах; [78] в лавку умеет заманивать прекрасных и богатых дам очаровательной любезностью, но и торговаться и набивать цену товару умеет, как опытный купец.

Днем приобретает, а ночью кидает деньги на ветер. Но отец смотрел на это мотовство сквозь пальцы: втайне, может быть, гордится, что сын его живет, как настоящий «вельможа». [79]

### III

«Так жил Франциск в огне греха»; «только и думал о том, как бы превзойти всех подобных себе молодых повес и гуляк распутством», – заключают две легенды рассказ о юности Франциска, [80] а другие две – иначе: «женщин бегал всегда»; «и среди сладострастных юношей в плотский грех (блуда) не впадал никогда». [81] Если так, то, может быть, больше хвастает грехом, щеголяет им, как тем скоморошьям платьем из ярких шелков, чем действительно грешит; любит только, испытывая себя и силу свою, ходить по самому краю бездны и в нее заглядывать.

«Так жалко расточал он силу свою до двадцать пятого года», – заключает первая легенда тот же рассказ о юности Франциска. [82] Только будто бы на двадцать пятом году ко Христу «обратился». Так ли это? Что-то с ним тогда действительно произошло, но «обратился» ли он, в том смысле, как Августин и Павел «обращаются»?

рот» (как будет для того, ходящего вниз головой, акробата-скомороха Парижской Богоматери). В этом смысле Франциск не на двадцать пятом году «обратился», а уже в самом рождении: как бы дважды или вдвойне родился.

Может ли кто снова войти в утробу матери своей и родиться?

...Если кто не родится снова... от Духа, не может войти в царство Божие (Ио. 3, 4-5).

Павел и Августин «рождаются снова от Духа», в миг своего «обращения», уже много лет после того, как родились от плоти; эти два рождения для них разделены во времени, а для Франциска, может быть, соединены: только что родившись от плоти – выйдя из того мира в этот, он «снова рождается от Духа» – входит из этого мира в тот. А если так, то, уже в самом рождении своем, он «обратился», «перевернулся», «опрокинулся», – вышел из «трех измерений» в «четвертое», где все «наоборот»; и ему уже не надо снова «обращаться», как Августину и Павлу.

Бог, избравший меня (предопределивший), *aphotisas*, от утробы матери моей... благоволил открыть во мне Сына своего (Гал 1, 15, 16), – мог бы сказать и Франциск, вместе с Павлом. Но существенная между ними разница та, что Павел так же, как Августин, забывает во времени об этом «избрании», «предопределении» своем, в вечности, и, когда вдруг вспоминает о нем, в миг обращения, то это ослепляет его, как молния (до слепоты физической), а

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Франциск кое-что, хотя и очень смутно, как сквозь глубокий сон, помнит об этомшии день.

#### IV

Мать Франциска, монна Пика Простейшая, *Simplicissima Pica*, помнит лучше его самого, даже в те дни, когда он живет еще в «огне греха», это «предопределение», «избрание» его, «от утробы матерней». [83] – «Как вы думаете, чем будет мой сын?» – спрашивает она всех близких своих и прежде, чем те успевают ответить, отвечает сама: «Вот увидите, он будет сыном Божиим». [84] Это значит, по слову Иоанна, верно угаданному, в простоте сердца, монной Пикой Простейшей: тем, кто принял Его... Он дал власть быть сынами Божиими (Ио. 1, 12).

Помня сама и напоминая сыну это, им забытое и самое для него нужное, делает ему и мать, так же как отец, добро величайшее. Если лучшего отца для св. Франциска нельзя себе и представить, то и лучшей матери – тоже.

#### V

Знали все молодые повесы и гуляки, веселые гости Франциска, что на него иногда «находит». Весело болтает, шутит, смеется и вдруг умолкает на полуслове, точно теряет сознание, куда-то уходит, – «отсутствует»; пристально смотрит широко открытыми глазами в одну точку и ничего не видит, не слышит, не чувствует, как человек в столбняке или лунатик; а когда приходит в себя, то не любит, чтоб его об этом спрашивали. [85] Может быть, в такие минуты «отсутствия» хочет и не может вспомнить самое для него нужное, забытое; всем известный, «маленький французик» – Франциск – хочет вспомнить великого «Иоанна», никому не известного; тот, кто есть, хочет вспомнить того, кто был и будет.

И это происходит с ним не только в сумерках тех полубеспамятств, как бы вещей снов, но и наяву, при полном свете сознания, в таких мелочах, как эта, тем более правдоподобная, что действительный смысл ее самой легенде уже непонятен: «Суетен был в роскоши так, что сшивал иногда в одной одежде две ткани, – самую роскошную, шелковую, мягкую, яркого цвета, с самую грубую, темную, бедную, нищую», наподобие рогожи или дерюги. [86] Сам, вероятно, не знает, зачем это делает; но если бы его спросили об этом, то, может быть, ответил бы: «Так еще роскошнее!»

Это как будто пустяки, «суета», а на самом деле очень для него значительно; в этом «противоположном согласии» двух тканей – «шелка и дерюги», – весь Франциск тех дней: забывший и вспоминающий; прямостоящий и наклоняющийся, чтобы «перевернуться», «опрокинуться», «стать вниз головой» и сделать так, чтобы все было для него «наоборот»; «маленький французик» – «Франциск», памятный всем, и всеми забытый «Иоанн».

#### VI

Милостыню подает так щедро (в этом уже не шутовской, а настоящий «король»), что нищие думают иногда, что он пьян или сошел с ума. А если мало при нем денег, то прибавляет к ним часть платья; встретив однажды, на большой дороге, очень бедного, полуголого рыцаря, отдал ему свою богатую, с драгоценным шитьем, одежду. [87] А в другой раз, может быть, стоя за прилавком и торгуясь с прекрасными дамами, занят был этим так, что отказал просившему с улицы нищему и, когда потом вспомнил об этом, то сгорел от стыда, как будто вдруг понял, что он – только ряженный в рыцари купчик, смерд в вельможестве, ворона в павлиньих перьях.

Почему так было стыдно, не мог тогда понять – вспомнить, – понял потом, когда уже совсем «перевернулся», «опрокинулся»: «Стыдно отказывать в малом просящему от имени Великого Царя». [88] Но тогда еще вовсе не думал об этом, или ум его не знал о том, что думает сердце, и если бы ему сказали, что он делает «добро», отдавая деньги нищим, то он, вероятно, почувствовал бы такую же скуку, как если бы сказали ему, что он делает «зло», кидая деньги на ветер, в своих безумных пиршествах. Нищим отдавал все, что было при нем в ту минуту, не потому, что это было «добром» и что так нужно делать, а потому, что он не мог этого не делать, а главное, потому, что это было «весело». Может быть, в такие минуты понимал – вспоминал, что веселее, «блаженнее давать, чем брать»; лишаться того, что имеешь, блаженнее, чем приобретать: как будто учился новому «веселому знанию», *gaia scienza*; влюблялся по-новому в Прекрасную Даму; еще лица Ее не знал, но уже помнил, что первым и единственным рыцарем Ее будет он.

#### VII

Будучи однажды в Риме, может быть, по торговым делам отца, долго наблюдал, как толпившиеся на паперти св. Петра нищие просили милостыню. – «О, если бы это и мне хоть раз испытать!» – подумал вдруг с такою завистью, с какою в жаркий летний день человек, стоящий на берегу, смотрит на купающихся в студеной воде, и с таким любопытством, с каким стоящий на самом краю пропасти и чувствующий ее притяжение заглядывает в пропасть.

А так как путь от мысли к делу у него всегда был краток, – только что подумал, – сделал: отвел одного из нищих в такое место, где никто не мог их видеть; скинул свое богатое платье и отдал ему, а сам надел его лохмотья; вернулся на папёрть, стал с нищими в ряд и, протянув руку, сказал, не на родном итальянском, будничном, а на чужом, провансальском, праздничном языке «веселого знания», *gaia scienza*:

– Подайте ради Христа!

И первый поданный грош сладостно обжег ему руку, как первый поцелуй обжигает уста.

Когда же, набрав достаточно грошей, чтобы купить себе хлеба, отведал его, то впервые понял – вспомнил, что значит: хлеб ангельский ел человек (пс. 77, 25).

Но утром на следующий день чего-то вдруг испугался или застыдился; купил себе платье, богаче прежнего, и, вернувшись в Ассизи, зажил по-старому: днем приказчик в лавке отца, а ночью вельможа в пиру. [89]

Но опыт сделал недаром: узнал, что если будет слишком жарко, то может окунуться в студеную воду; и если кинется в пропасть, то не упадет, а полетит, как птица на крыльях.

### VIII

В 1202 году, во время войны Ассизи с Перуджией, двадцатилетний Франциск, сражавшийся с рыцарской доблестью в первых рядах войска, взят был в плен и посажен в тюрьму, где просидел целый год. Но между тем, как все остальные заключенные с ним, пленники сетовали горько на судьбу свою и унывали, он один веселился, напевая все одну и ту же песенку:

Жду себе такого счастья,  
что и горе в счастье мне! [90]

А когда спрашивали его остальные унывавшие с досадой: «Чему ты веселишься, дурак?» – отвечал всегда одно и то же: «Тому, что тело мое в цепях, а душа на свободе».

Все, наконец, решили, что он «не в своем уме» или в самом деле «дурак», и, слушая песенку его, только отплевывались: «Что возьмешь с дурака!» [91]

Вернувшись из плена в Ассизи, зажил опять по-старому, так же как тогда, вернувшись из Рима. Но смутное воспоминание о том, что было и будет, – ясно в душе его, как в темной, с закрытыми ставнями, комнате рассветающий день.

### IX

С детства, наслушавшись провансальских песен и сказок о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, о Роланде и Карле Великом, мечтал он о таких же, и для себя, рыцарских подвигах.

«Буду велик, – говорил иногда, подвыпивши, друзьям своим, на пирах, – буду велик, больше Артура, больше Роланда, больше Карла Великого, и Александра, и Цезаря, – больше всех людей на земле!» [92]

И вдруг умолкал, вспоминая, может быть, с ужасом пророчество матери, монны Пики Простейшей: «сыном Божиим будет мой сын!»

«Будет велик», а пока – только ряженный в рыцари, купчик, мещанин в вельможестве, – ворона в павлиньих перьях. Не был, однако, таким «дураком», каким его считали многие, чтобы не чувствовать своего ничтожества и этим не мучиться: вот почему, может быть, так и старался пустить пыль в глаза. Но сделать это было не так-то легко, при его наружности: маленький, худенький, с изможденным смуглым лицом, с оттопыренными ушами и черной, редкой, клином, бородкой, – самого невзрачного вида человек: «так себе, кое-какой мещанишка» – вот первое от него впечатление всех, кто его не знает и взглядывает на него мимоходом, издали. Но для тех, кто его узнает, все вдруг меняется в нем, как будто они его никогда раньше не видели: такая печать благородства, как бы царственной крови знак, – в каждой черте тонкого лица, в узкой и длинной, с длинными тонкими пальцами, женственно прекрасной руке и, особенно, в чудесных и страшных, непонятных глазах – темно-коричневым огнем горящих, прозрачных углях, – то с невыносимо тяжелым, то с чарующим взором, и в тихой улыбке, и в быстрых движениях, таких стремительных, что казалось, не ходит, а летает, порхает, как птица;

X

Пропировав однажды всю ночь, до света, шли гости Франциска веселой толпой, оглашая пустынные улицы городка Ассизи пьяными песнями. Шел с ними и «король» их, в шелковом, пестром, скоморошьем платье, с шутовской, из золотой фольги, короной на голове и с таким же скипетром в руке. Все, кроме него, были пьяны, так что не заметили, как он потихоньку отстал, и ушли далеко вперед. А он, оставшись один на пустынной улице, вдруг остановился, как вкопанный, с таким неподвижным лицом, как у человека в столбняке или лунатика. «Кажется, в эту минуту, жги меня, режь, – я бы ничего не почувствовал», – вспоминал он потом.[94]

Пристально, широко открытыми глазами глядя на утреннюю в светлеющем небе звезду, переливавшуюся, как исполинский алмаз, тремя цветами, – голубым, зеленым и розовым, – испытывал он такое блаженство, что умирал в нем, как утренняя звезда, в лучах восходящего солнца. Но долго не мог понять – вспомнить, отчего это блаженство; вдруг вспомнил: оттого, что тремя цветами играет звезда. Понял – вспомнил все, и сердце его пронзило, как молния, число божественное: Три.

XI

Множество было в те дни, по всему христианскому Западу, больниц для прокаженных, «лепрозориев», так что для ухода за больными основан был особый рыцарский орден св. Лазаря. Так же как безумие, «одержимость», во времена язычников, проказа почиталась тогда «священной болезнью», потому что в обезображенном ею лице человеческого являлся людям прообраз Того, о ком сказано: больше всякого человека обезображен был лик Его, и вид Его, – больше сынов человеческих... Взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 52, 14; 53, 4).

Помнили также все, как Прокаженный, в объятьях св. Мартирия, преобразился во Христа и, возносясь на небо, сказал ему: «Ты не возгнушался Мною на земле; не возгнушаюсь и я тобой на небе!»[95]

XII

Была и около Ассизи, на полдороге в Портионкулу, больница для прокаженных. Каждый раз, как Франциск проходил или проезжал на коне мимо нее, если только ветер дул с той стороны, где находилась больница, – он ускорял шаг или пришпоривал коня, отворачивая голову и затыкая пальцами нос, чтобы не почувствовать свойственного этим больным гнусно-сладковатого смрада, потому что не было для него в мире ужаснее этого запаха.[96]

Пропировав однажды с друзьями всю ночь до света, в загородном доме, он возвращался в Ассизи верхом и не заметил, как подъехал к месту, где находилась больница.

«Буду велик, – больше Карла, Александра и Цезаря, – больше всех людей на земле!» – вспоминалось ему, что говорил он, по обыкновению, друзьям своим давеча, подвыпивши.

Вдруг на очень крутом повороте узкой, между скалами, дороги конь под ним шарахнулся так, что едва не выбил его из седла, и в ту же минуту увидел он, что идет на него человекоподобное страшилище с безглазым, безносым, безротым лицом, зеленовато-желтым, в белых струпьях и красных язвах. Гнусно-сладковатым смрадом пахнуло ему прямо в лицо, и послышался из круглой черной дыры, месте рта, нечеловеческий хрип:

– Милостыню, ради Христа!

Круто повернув и пришпорив коня, поскакал было всадник во весь опор, назад; но, почти в то же мгновение, затащил удила так, что конь сначала взвился на дыбы, а потом, упав на передние копыта, остановился как вкопанный. В миг перед тем, как это сделал Франциск, почувствовал ему чей-то смех: «Будешь, будешь велик, – больше всех людей на земле!» И точно бездна зазияла, у самых копыт коня, от этого смеха, и смрадом пахнуло из нее, гнуснейшим, чем тот, от прокаженного, потому что его же, Франциска, собственным. И когда он это почувствовал, то, круто, еще раз, так же как давеча, повернув коня, поскакал назад, с одним только страхом, что не найдет прокаженного. Но тот стоял на том же месте, как будто ждал.

Не соскочил с коня Франциск, а упал, как человек, побежденный притяжением бездны, срывается в нее с крутизны и падает. Но это была уже иная бездна, – не та, что осталась за ним позади.

Быстрым и легким шагом подойдя к Ожидавшему, стал перед Ним на колени, поклонился Ему до земли и вложил в левую руку Его кошелек с червонцами, а

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
правую поцеловал с таким благоговейным ужасом, как самому Царю царей и Господу господствующих. И показалось ему, что Прокаженный кладет ему руку на голову, как сюзерен, посвящающий вассала в рыцари.

Только тогда опомнился Франциск, когда уже опять сидел на коне, и, перед тем, как отъехать, оглянулся туда, где стоял Прокаженный; но никого не увидел: тот исчез, точно сквозь землю провалился, или вознесся на небо; может быть, убежал, испуганный Франциском больше, чем тот был давеча испуган им.[97]

Радовался Франциск, как победитель. Что победил? Весь мир, – как Александр, Цезарь и Карл? Нет, больше, – себя.

### XIII

Лиха беда начать, а потом пошло все легче и радостней. Каждый день посещал больницу прокаженных, ухаживал за ними, кормил их из собственных рук, омывал и перевязывал их гнойные раны; целовал им руки, целовал их в уста, и смрада их как будто не чувствовал.[98]

«Дал мне Господь начать покаяние так: когда я жил еще во грехе, очень тяжело мне было видеть прокаженных; но сам Господь привел меня к ним, и я начал за ними ухаживать... и то, что мне было тяжело, сделалось легким и радостным», – вспомнит Франциск, умирая.[99]

### XIV

Издавна людьми нехоженная, глухо заглохшая, густо-высоко душистой лавандой, розмарином и мятой заросшая, вьющаяся тропинка шла по каменистому склону горы, под легкую тенью маслин и приводила путника, в четверть часа, от городских стен Ассизи к старой-престарой, бедной-пребедной церкви св. Демиана, запустевшей давно и покинутой всеми, как слишком старые старушки бывают покинуты, видимо близкой к разрушенью. Только, может быть, ровесники ее, кипарисы-великаны, стерегли ее, как последние верные друзья, и между ними виднелись далекие, блаженно-пустынно, как будто не на земле, а где-то в раю, голубеющие холмы и долины Умбрии Лесистой; и казалось, что так пустынно-блаженны они – от этой запустевшей церкви.[100]

Жалостью ныло сердце Франциска каждый раз, как проходил он мимо нее или хотя бы только видел ее издали: так последний верный слуга жалеет покинутого всеми в нищете и в изгнании великого царя.

Часто ходил он молиться сюда, и нигде не молилось ему так сладко, потому что не было нигде такой тишины, не мертвой, а живой, точно в ней Кто-то невидимо присутствовал и вошедшего в нее стерег, как те кипарисы-великаны стерегли ее.

Втайне, может быть, нравилось Франциску – и чем больше ныло в нем сердце от жалости, тем больше нравилось, хотя он этого и сам не сознавал, – что церковь такая старая, нищая, покинутая всеми и к разрушенью близкая; нравилось ему и то, что священник при ней – такой же старый, нищий, – сгорбленный, белый как лунь, чуть живой, точно с того света выходец; и то, что внутри церковь еще больше запустела, – ближе к разрушенью, чем снаружи. Стены так покосились и такие в них трещины, что кажется, рухнут сейчас; плиты пола под ногами шатаются; пыль и паутина везде; лики на иконах почернели; ни одной перед ними свечи, и давно не горевшие лампы заржавели; главный жертвенник, когда-то побеленный, а теперь облупленный так, что виднелся кирпич, гол, точно ободран сейчас. А над ним – самое голое, нищее, в этой нищей церкви, самое забытое людьми и покинутое, – большое деревянное распятие, некогда крашеное, а теперь почерневшее от копоти так, что почти ничего уже не было видно на нем; только если падал из окна луч солнца, прямо на лицо Распятого, то в черноте чуть-чуть розовели губы, и глаза на того, кто пристально на них смотрел, – смотрели так же пристально.

Что это за распятие и откуда оно, не знал Франциск и удивлялся, потому что нигде не видел такого.[101] Но, может быть, тотчас же узнал бы его Иоахим, потому что в лавре его, Сан-Джованни-ин-Фиоре, висело над жертвенником такое же точно, – не западного, римского, письма, а византийского, восточного; и, может быть, с тем же чувством молился он перед ним, как Франциск: «Этот чужой роднее родных!» Но знал Иоахим уже и то, чего еще не знал Франциск, что это не одной из двух церквей, восточной или западной, а единой Вселенской Церкви Христос.

### XV

Выйдя однажды из больницы прокаженных (ходил в нее потихоньку ото всех, потому что если бы это люди узнали, то, боясь заразы, бежали бы от него



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
самого, как от прокаженного), зашел Франциск помолиться в церковь св. Демьяна.

Стоя на коленях перед тем большим распятием над жертвенником и пристально глядя в глаза Распятого, повторял он все одно и то же:

– Что мне делать? что мне делать? что мне делать, Господи?

Вдруг пал лицом на землю: тихий голос услышал, – тишайший, чем голос матери, говорящей с больным ребенком, и такой ужасный, что побегут от него некогда земля и небо и не найдется им места:

– Рушайся дом Мой обнови, Франциск!

И во второй раз, еще тише, ужаснее:

– Рушайся дом Мой обнови, Франциск!

И в третий, – так близко, внятно, как будто Распятый, сойдя с креста, стоял над Франциском:

– Рушайся дом Мой обнови, Франциск! [102]

Долго лежал он на земле, как мертвый. Ожил наконец; медленно поднял лицо и взглянул на распятие: было оно, как всегда, – почерневшее от копоти так, что почти ничего уже не видно было на нем; только пристально смотрели глаза в глаза Франциска, и немые уста как будто хотели еще что-то сказать, но уже не могли. И жалостью заняло сердце его, как еще никогда. «Памятью Страстей Господних пронзенное, истаяло», – говорит легенда, а может быть, и он сам говорит о том же в этой молитве: «Как бы я хотел любви [103]

Встал, вышел из церкви, отыскал священника и, благословившись у него, поцеловал ему руку, с таким же благоговейным ужасом, как тогда, Прокаженному – Царю царей; вынул из кошелька последнюю, после раздачи в больнице, оставшуюся в нем монету и, подав ее священнику, сказал:

– Новую лампаду и масла купи: пусть горит всегда неугасимая, перед Распятьем! [104]

## XVI

Прямо из церкви вернулся домой, в лавку, отобрал потихоньку от отца лучших французских сукон, самого модного, огненно-красного цвета, scarlato, связал их в тюки, навьючил на коня и поехал в город Фолиньо, на ярмарку, где выгодно продал весь товар, с конем в придачу, торгуясь и набивая цену так ловко, как еще никогда.

Засветло вернулся пешком в Ассизи (было недалеко, часа три-четыре ходьбы); прямо, не заходя домой, задворками, крадучись, как вор, прошел в церковь св. Демьяна и хотел отдать священнику туго серебром и золотом набитую кошелек, на починку или отстройку ветхой церкви заново. Но тот не взял.

– Нет, Бог с тобой и с деньгами твоими! Нищим я жил – нищим и умру. И церкви новой не надо: какая есть, такая пусть и будет; старая-то, может быть, лучше новой...

Слышал, должно быть, что люди говорили о «маленьком французике»: «шут», «дурак» или «порченный». И отца его боялся; знал, что с ним шутки плохи: со свету сживет, засудит.

Долго умолял и убеждал его Франциск позволить ему остаться при церкви и, если не чинить ее, то хотя бы только прибраться и почистить, чтобы храм Божий не был похож на конюшню. Тот наконец согласился, но денег так и не взял.

Тогда Франциск, не зная, что с ними делать, и не желая оставлять их при себе, тут же, в церкви, поднял кошелек, размахнулся ею, нацелился и зашвырнул ее на подоконник высокого окна. Тонким золотым и серебряным звоном, тяжело упав, зазвенела кошелек; замер этот в нищей церкви, может быть, с ее основания, неслышимый звук, и наступила в ней опять та живая тишина, в которой невидимо кто-то присутствовал и входившего в нее стерег.

Вышел из церкви Франциск, а за ним – священник, не оглянувшись туда, где лежало серебро и золото, – для этих двух нищих самая в мире ненужная, забытая и презренная вещь, – такая нечистота, что первую надо было ее, очищая церковь, вымести как сор.

В домике священника, таком же бедном и старом, полуразвалившемся, как церковь, сладко спалось Франциску в ту ночь, как только под кровлей родимого дома спится вернувшемуся в него изгнаннику. [105]

## XVII

Три дня ждал сына мессер Пьетро, с каждым днем все больше тревожась и недоумевая, куда он пропал.

«Долго ли до греха?» – начинал было думать о лихих людях, что по большим дорогам, в ярмарочные дни, шалют, подстерегают с выручкой купцов, грабят их и убивают; начинал думать и не кончал, потому что очень любил сына-первенца, единственного (второй сын никуда не годился: хуже был, чем

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
дурак, – придурковатый, грубый и тяжелый увалень); очень любил его, хотя почти никогда никакой любви ему не показывал; суров был с ним и даже, иногда, как будто жесток, но втайне баловал его и гордился им; знал, что будет из него толк: выйдет в люди, честь и богатство торгового дома Пьетро Бернардоне умножит, а то и в большие господа попадет, в вельможи и рыцари, – золотая дорожка куда не доведет. И вот, пропал! Или опять загулял? Да нет, больше одной ночи никогда не прогуливал, а теперь четвертые сутки ни слуху ни духу.

Так наконец растрогался мессер Пьетро от всех этих мыслей, что хотел уже сам на разведки ехать, как вдруг дошли до него такие слухи, что он ушам своим не поверил сначала: будто бы четвертого дня еще благополучно вернулся Франциск с Фолиньовской ярмарки: кое-кто будто бы видел, как потихоньку, прячась ото всех, а от отца, должно быть, больше всех, пробирался он по задворкам, с туго набитой мошной; и еще кто-то выследил, как, пробравшись к св. Демиану, вошел он в дом священника, – у него и живет, прячась ото всех; а еще кое-кто похвальбу его слышал, что никогда уже к отцу в дом не вернется: «полно-де ему в приказчиках маяться, мерить весь день в лавке аршином сукно; хочет на воле пожить, благо в мошне денежки звенят».

Как все это услышал мессер Пьетро, точно обухом его по голове ударило. «Вор! сын Пьетро Бернардоне – вор! Продал чужой товар и с деньгами ушел, отца обокрал, весь род обесчестил. Вот как вышел в люди... Ну, погоди ж, негодяй, доберусь я до тебя, проучу как следует!» – кричал мессер Пьетро, не помня себя от ярости.

Тут же собрал всех друзей своих, таких же, как он, честных купцов, именитых граждан Ассизи, чтобы видели все, как будет он сына-вора наказывать. И с криком и гиком пошли они вора ловить, как ловцы идут облавой на зверя.

#### XVIII

Прямо к св. Демиану пошли, в дом священника вломились. «Где Франциск?» – «Не знаю». – «Был у тебя?» – «Был, да ушел». – «Куда?» – «Не знаю». Больше ничего от старика не добились, только напугали его до полусмерти.

Дом обыскали, обшарили весь, – ничего не нашли. Обыскали и церковь; здесь нашли, на подоконнике, мошну, валяющуюся в пыли и паутине, как сор, на том же месте, куда намедни зашвырнул ее Франциск.

Тут же мессер Пьетро высыпал из нее деньги, пересчитал и, сличив с наивысшей ценой товара, увидел, что выручка вся, до последней денежки, цела, да еще с таким барышом, что все удивились, а мессер Пьетро – больше всех. «Умница! – подумал он с тайной гордостью. – Вот как цену товару набил, не хуже моего. Выйдет, выйдет в люди французик!»

И сразу отлегло от сердца. А все-таки куда ушел и зачем? Ну да ладно, без денег недолго нагуляет, скоро вернется домой, нужда загонит. А не вернется, – тоже не беда: значит, дурной сын, непочтительный; а сын дурной из дома – гнилой товар из лавки: не убыток, а прибыль. [106]

Все на том и успокоились, и мессер Пьетро тоже, но не совсем. В этом никому не признался бы, но кровной для него обидой было то, что Франциск, первенец его, единственный, возлюбленный, так, ни с того ни с сего, ушел из дому, покинул отца, как и верный пес не покинет хозяина.

Вор – не вор, а, пожалуй, не лучше того. «И за что он меня так? что я сделал ему?» – думал мессер Пьетро и мучился.

И потому еще не мог он успокоиться, что чуяло сердце его, что дело этим не кончится, беда не прошла: еще покажет себя «французик», такую штуку выкинет, что весь город ахнет.

Как бы удивился мессер Пьетро, если бы сказали ему, что он сына боится; а так оно и было: очень боялся его, потому что очень любил и лучше всех знал, на что он способен в добре и во зле.

#### XIX

А Франциск, пока его ловили как вора, ища повсюду, в церкви и в доме священника, тут же где-то сидел, – в погребе, подвале, подполье или какой-нибудь другой темной дыре, – где именно, этого тогда, при жизни его, никто не мог узнать и потом не узнал, может быть, потому, что он об этом ни с кем не любил говорить, ни даже про себя вспоминать, а не любил потому, что, как сам признается: «Тягчайшее из всего, что пришлось мне вынести в жизни, было это», – уход от отца. [107]

В первый же день, как зажил в доме священника, он приготовил себе этот надежный тайник и, только что услышал издали крики облавы: «На вора! на вора!» (особенно страшен был ему голос отца), кинулся в ту темную дыру, как мышь – в подполье. О, насколько больше теперь испугался отца, чем тогда

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
прокаженного, – безликого страшилища. Сам не знал, чего так безумно боится.  
Чти отца твоего и мать: это первая заповедь (Еф. 6, 2), – может быть, этого? Плохо знал Писание, но смутно помнил, что есть и другая заповедь: Я пришел разделить человека с отцом его (Мт. 10, 35). Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери... тот не может быть Моим учеником (Лк. 14, 26).

Или не так? Спутал, верно, что-нибудь, – забыл. Может ли быть, чтобы Отец заповедал: «чти отца, люби», а Сын: «ненавидь»? чтобы заповедь первая отменялась второю, как будто Сын... «Нет, не надо, не надо, не надо думать об этом, – с ума сойдешь». А все-таки думал – сходил с ума.

Крик облавы: «На вора! на вора!» – все еще стоял в ушах его, и заповедь другая вспоминалась: «не укради». Сын отца обокрал; дом Сына Божия на краденые деньги отца хотел обновить. «Рушащийся дом Мой обновить»... – «Нет, и об этом думать не надо, – сойдешь с ума».

«Что мне делать? что мне делать? что мне делать, Господи?» – спрашивал и теперь, как тогда, в церкви св. Демиана. Но теперь уже никто не отвечал.

Страшные сны снились ему: будто отец за ним гонится и все растет и растет, – вот уже исполин, с головой до самого неба; а он, Франциск, хочет бежать от него, – но ни с места, и все уменьшается: мышь – червь – вошь – пылинка – ничто, и тяжкая пята исполина на него наступает, раздавливает.

XX

Сколько дней просидел в дыре, не помнил; люди потом говорили, – тридцать дней, а ему казалось, – тридцать веков – вечностей, сколько грешники сидят в аду.

Кто-то кормил его, хлеб и воду просовывал в щель дыры, – может быть, священник от св. Демиана. Только в самую глухую ночь выползал из дыры, для естественной нужды, да и то боялся, от каждого звука вздрагивал, как затравленный зверь или пойманный вор, и тотчас опять заползал в дыру. Весь нечистой оброс, обовшивел, и себе самому, как прокаженный, смердел. [108]

И думал, думал, думал все об одном: «чти отца», – «возненавидел отца»: Сын – на Отца, Отец – на Сына. Думал об этом без мыслей, без слов, и сходил с ума.

Сделался внезапный шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, – где находился Франциск, – темную дыру; всю ее наполнило, как бы сильным ветром, веяние крыл голубиных, и подняло его, и вынесло, как буря, из темноты в свет.

В Сыне сказал ему Дух: «Сын, не бойся Отца, – ты свободен». И только что это услышал Франциск – солнце взошло в душе его, и снова утренней звездой заиграла душа его, в солнце.

Вышел из темной дыры, как младенец из чрева матери и воскресающий мертвец – из земли.

Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода (Ио. 12, 14).

В землю пшеничным зерном пал Франциск: умер – ожил и много плода принес.

XXI

Выйдя из дыры, шел, сам не зная куда. Ничего перед собой не видел, – видел только голубое небо, солнце, облака, и смеялся, и плакал от радости; всею грудью дышал, и с каждым дыханием, с каждым биением сердца что-то в нем пело: «Свобода! свобода! свобода!»

Вдруг увидел городскую площадь Ассизи, откуда в двух шагах был дом отца, и услышал крики бежавших за ним толпою уличных мальчишек:

– Pazzo! Pazzo! Pazzo! Дурак! Дурак! Дурак! Бей дурака!

«Pazzo» значит «дурак» и «сумасшедший» вместе. Весь оборван, испачкан, худ, как остов, с изможденным лицом и диким взором блуждающих глаз, – в самом деле, имел вид сумасшедшего.

С криком, визгом и хохотом прыгали, плясали злые шалуны, как бесенята; показывали ему язык, дергали его за платье, метались ему под ноги, чтобы свалить, кидали в него грязью и камнями, тухлыми яйцами и апельсинными корками.

Всюду открывались оконные ставни и, с жадным любопытством, высовывались головы. Люди выходили из домов, сбегались из соседних улиц «на сумасшедшего», как на пожар или церковное шествие.

Целая толпа собралась вокруг него на площади. Так был не похож на себя, что его узнали не сразу. Вдруг кто-то из бывших его застольных товарищей узнал и закричал:

– Да ведь это мессера Пьетро Бернардоне сын, Франциск!

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
– Он, он самый и есть! – подхватили другие. – С придурью был всегда, а теперь и вовсе, видно, рехнулся!  
И гулом пронеслось по всей толпе: «Бернардоне – Франциск!»

## XXII

Только что мессер Пьетро, сидя в лавке, услышал имя Франциска и свое, как догадался, что пришла-таки беда, которую чуяло сердце его тогда еще, после облавы на мнимого вора.

Выбежав на площадь, протеснился сквозь толпу, взглянул на «сумасшедшего» и тоже не узнал его сначала, а когда узнал, то содрогнулся и пожалел было дитя свое. Но, услышав смех в толпе, увидев притворную жалость и тайное злорадство на лицах лучших друзей своих, именитых граждан Ассизи, заглушил в себе жалость. «Нет, хитрый плут, хитрее нас всех: только морочит людей, дурака валяет; все назло, назло мне, чтобы волю свою над отцом показать, осрамить его на весь мир, надругаться над ним, над его сединами. Да за это убить тебя мало, злодей!» – подумал мессер Пьетро и, кинувшись на Франциска, схватил его за горло так, что едва не задушил тут же, на месте; ударил по лицу, потащил домой, в лавку, и оттуда, по лестнице, в темный подвал; толкнул его туда ногой, запер дверь на ключ и крикнул в окошко с железной решеткой:

– Тут и сиди, негодяй, пока не образумишься, не покоришься отцу, как следует доброму сыну по заповеди Божьей: «Чти отца».

Так из одной дыры попал Франциск в другую, но не горевал о том; чувствовал себя и в этой тюрьме таким же свободным, как некогда в той, перуджийской: «Тело мое в тюрьме, а душа – на свободе»; ту же песенку пел и теперь, как тогда:

Жду себе такого счастья,  
Что и горе в счастье мне!

Знал, что выйдет и из этой дыры так же, как из той. Видел и сквозь стены голубое небо, солнце, облака, и смеялся, и плакал от радости, и с каждым дыханьем, каждым биением сердца что-то в нем пело: «Свобода! свобода! свобода!»

## XXIII

Дни проходили за днями, а Франциск сидел да сидел в подвале, как будто ему и горя было мало: каяться перед отцом и не думал.

Много раз на дню подходил мессер Пьетро к окошку с решеткой, заглядывал в подвал: в самом дальнем углу сидит, не шевелится. Кажется, если бы только встал, подошел к окну и сказал только слово: «отец!» – кинулся бы к нему тот, обнял бы, все простил и полюбил его еще сильнее прежнего. Но вот сидит, не шевелится; что-то про себя напевает и как будто усмежается. Видит отца или не видит? Громко покашливал мессер Пьетро, переступая ногами, нарочно стучал; связкой ключей звенел и опять в оконце заглядывал: сидит, не шевелится; только два раскаленных угля, два глаза горят в темноте, как у волка или у самого дьявола. И отходил от оконца ни с чем мессер Пьетро; но ненадолго: опять возвращался, и так – без конца.

«Что ж это такое, – думал с возмущением, – бояться мне этого щенка поганого, что ли? Взять бы хорошую плеть, да избить его до крови, вышла бы дурь из головы, покорился бы отцу!» Но знал, что этого не сделает, а почему – не знал, и чудно и страшно: казалось ему иногда, что не «щенок» у него, в подвале, сидит, а он – у щенка; не он бьет сына, а сын – его, да еще как – по лицу бьет и плюет ему в лицо. С ужасом иногда ловил себя в том, что, крепко сжав кулаки, весь побагровел и, задохшись от ярости, шептал: «Убью, из собственных рук убью, дьявол!»

Все это наконец измучило его и опротивело ему, и он вдруг, поспешно собравшись, уехал на юг Франции, по какому-то важному будто бы и неотложному торговому делу, – так говорил себе и друзьям, а втайне бежал из дому от сына, как бежит с поля битвы побежденный враг от врага. [109]

## XXIV

Только что мессер Пьетро уехал, кинулась монна Пика в подвал и выпустила Франциска на волю. Собственными руками обмыла, накормила любимыми блюдами и нарядила в богатое, самых ярких и мягких шелков, праздничное платье. Он, сначала было, не хотел в него наряжаться, а затем, подумав и чему-то тихонько усмехнувшись, нарядился, но и нищенские, старые лохмотья свои уложил, увязал в узел и с тою же тихой усмешкой проговорил: «Это на память!» С нежностью обнял мать и благодарил; но, как потом оказалось, не очень порадовал и мать, потому что недаром помянуты вместе «отец» и «мать»

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
в тех обеих противоположных заповедях: «чти» – «ненавидь». Нежен был с матерью, но рассеян, как будто о чем-то другом думал и куда-то спешил. Утром выпустила его монна Пика, а ночью он потихоньку, не простившись с нею, ушел – убежал, «как волк в лес», сказал бы мессер Пьетро: улетел, как выпущенная из клетки птица улетает в небо, – прямо к св. Демиану. Так же естественно неудержимо вернулся туда, как возвращается, стекает вода с высокого места в низкое.

В нищую церковь вернулся, – в родные-родные места, – насколько отчего дома родней! И тотчас же на следующее утро, как будто ничего не случилось с ним за все это время, принялся опять, с того же самого места, где оставил работу, – чистить, мыть, подметать и, насколько возможно было, без денег, «рушащийся дом» Божий чинить, ветхий – обновлять. Впрочем, от главной нечистоты он был уже чист: выметен уже был из него главный сор – «тугая мошна» – «Мамон». [110]

XXV

Легче было мессеру Пьетро в чужих местах, с чужими людьми, чем в своем собственном, из-за сына-врага опустевшем, доме. Но надо было когда-нибудь вернуться домой. А когда он, вернувшись, узнал, что монна Пика выпустила Франциска на волю, то пришел было в ярость, изругал жену, чуть не избил. Но очень скоро успокоился: втайне, может быть, радовался, что легче стало в доме дышать, зная, что не сидит уже там, внизу, в подвале, неизвестно кто, – сын, «волк» или «дьявол».

Легче стало в доме, но не в городе, где «негодный» сын срамил отца пуще прежнего, шляясь в нищенских лохмотьях по улицам и выпрашивая милостыню ради Христа.

Что было делать мессеру Пьетро? Чувствуя свое бессилие, подал он яснейшим синьорам, консулам города Ассизи, жалобу на непокорного воле отца и честь его позорящего сына, прося наказать его, как «явного бунтовщика против всех законов, божеских и человеческих», вечным изгнанием. Консулы послали к Франциску глашатая с вызовом в суд. Но тот ответил ему с таким убеждением, что, будучи слугой единого Царя Небесного, он уже никаким земным властям неподсуден, что глашатай, хотя удивился, потому что никакого пострига не мог различить на голове его, – все-таки поверил ему и передал ответ консулам, а те сообщили его мессеру Пьетро, советуя ему обратиться к властям духовным. Так он и сделал: подал жалобу епископу Ассизскому. Но так как тот приговора об изгнании над лицом недуховным не мог постановить, то просил его только подтвердить и объявить во всеуслышание, что Франциск, как непокорный сын, лишен прав наследства и проклят отцом. Это казалось мессеру Пьетро достаточным, чтобы навсегда разделаться с «поганим щенком» и смыть с чести своей пятно позора.

Посланному от епископа ответил Франциск почтительно, что не преминет явиться на суд.

XXVI

В назначенный день собрались в судебной палате епископского дворца на площади Санта-Мария-Маджиоре все именитые граждане Ассизи, духовные и светские сановники, цеховые старейшины и купцы-богатеи, законоведы и доктора богословия, рыцари и прекрасные дамы, в таких великолепных нарядах, в каких обыкновенно являлись они только на турниры, состязания трубадуров и «суды любви». А внизу, на площади, собралась огромная толпа простого народа. Всем хотелось узнать, чем кончится эта небывалая тяжба отца с сыном, – всем, кроме самого судьи-епископа: тот, подобно большинству князей Римской церкви, умудренных опытом власти, зная или воображая, что знает безнадежную суетность почти всех человеческих дел, думал, что и это кончится, как все, – ничем. Этого-то, впрочем, он и хотел; к этому и вел все.

В белой епископской митре, с белым пастырским посохом, в длинной, фиолетового пурпура, мантии, монсиньор Гвидо сидел на высоком владычном месте, под затканным золотыми ключами Петра алым пологом. Лицо у него было не глупое и не умное, не злое и не доброе, а среднее, – именно такое, какое прилично шестидесятилетнему, опытом власти умудренному князю Римской церкви, – ровное, серое, холодное, как небо ноябрьского дня.

Перед епископским местом, внизу, на двух скамьях – истца и ответчика и сидели, друг против друга, сын и отец.

XXVII

После того как мессер Пьетро повторил свою писаную жалобу вслух,

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
монсиньор Гвидо, голосом таким же холодным и ровным, как лицо его, сказал Франциску:

– Сын мой, признаешь ли ты вину свою перед отцом твоим по плоти?

– Нет, не признаю, – ответил Франциск почтительно, но как будто рассеянно, думая о чем-то другом, так же как в последнем разговоре своем с матерью.

– Помнишь ли ты, сын мой, заповедь Божию: «Чти отца своего?» – продолжал спрашивать епископ все таким же ровным и холодным голосом.

«Есть и другая заповедь: „Возненавидь“...» – чуть было не ответил Франциск, но удержался, почувствовав, как что-то вдруг слабо кольнуло сердце его тупым жалом, – и только сказал:

– Помню.

– Зачем же ты отца не почтил, против воли его ушел из дому?

– Чтобы послужить Богу, – ответил Франциск, глядя прямо в лицо епископу; глаза их встретились, и монсиньор Гвидо чуть-чуть потупил глаза.

– Прежде чем уйти от мира, ты должен был возвратить отцу все, что от него получил. Все ли ты ему возвратил?

– Все.

– А это платье?

Идучи в суд, Франциск нарядился в то великолепное, самых ярких и мягких шелков, праздничное платье, которое получил от матери.

Он взглянул на него так, как будто только теперь вспомнил о нем, и усмехнулся той же тихой усмешкой, с какой тогда, увязывая в узел нищенские лохмотья, сказал матери: «Это на память!»

– Ваша правда, монсиньор, – ответил, заглянув ему опять прямо в лицо и все так же тихо усмехаясь, – ваша правда: платье на мне чужое, но я его отдам сейчас...

Так отвечал Франциск, и вдруг начал расстегивать пуговики на воротнике камзола: первую, вторую, третью, – все расстегнул; потом – на груди; потом, спустив камзол с левого плеча, вынул из рукава левую руку, потом правую.

У всех, в том числе и у опытного в делах человеческих князя Церкви, поражены были и скованы большим удивлением, чем если бы Франциск, отделившись от пола, поднялся локтей на шесть и повис в воздухе: «этого не может быть, но вот есть», – такое чувство было у всех. И всего удивительнее было то, что в этот, всем показавшийся вечностью, миг никому не пришла в голову мысль, что Франциск «сошел с ума» или прикидывается сумасшедшим, «дурака валяет»; всего удивительнее было то, что в этот вечный миг более или менее смутно чувствовали все, что здесь, в этой судебной палате, а может быть, и во всем городе, во всей стране, во всем мире, человек разумнейший – он, Франциск (чувство это они забыли потом, и никто из них не поверил бы, что он мог это чувствовать). С жадным любопытством смотрели все на то, что он делает; кто начал только на это смотреть, тот уже не мог оторвать глаз, потому что чувствовал, что перед ним делается то, чего никто никогда еще не видел и, может быть, никогда уже не увидит.

### XXVIII

Так же спокойно раздевался он перед всеми, как человек один в комнате, где его никто не видит, и так же весело, как, в знойный день, купальщик, перед тем, чтобы кинуться в студеную воду. Легки были все его движения, быстры, точны и необходимы, как в пляске. В эту минуту Франциск был в самом деле «игрец-скоморох Божий», *joculator Dei*, как потом сам себя называл, – «канатный плясун», – но на какой высоте ужасающей! Что, если сорвется, упадет? Нет, не сорвется: по канату, как по большой дороге, ходит.

Весело, точно играл; но смутно чувствовали все, что если для него – это игра, то для них – самое трудное дело: как бы великое и страшное, никогда еще не совершавшееся в мире таинство – Очищение, Обнажение, Освобождение человека ото всего.

Скинул все, кроме легкой шелковой рубашки, матерного тоже подарка. Думали, что в ней и останется. Нет, – все таким же быстрым и точным, необходимым, как будто плясовым, движением поднял и ее над головой, скинул и бросил к ногам своим.

Тихо ахнули все, увидев смуглое, стройное, тонкое-тонкое, как из слоновой кости точенное, целомудренно, как у древних Олимпийских богов или у первого человека в раю, обнаженное тело. Чресла только обвивала узкая, черная, колюче-шершавая змея – власяница; но обнаженное тело казалось от нее еще обнаженнее. И так же, как на жаркой ниве колосья волнуются от сильного, свежего ветра, человеческие души взволновались от веяния Духа.

Быстро наклонился Франциск, поднял лежавшую у ног его одежду; подойдя к отцу, поклонился ему изысканно-вежливо, как рыцарь, победивший на турнире, – побежденному сопернику, и положил одежду у ног его.

Тот стоял как громом пораженный, неподвижнее, скованнее всех, но видно было, по лицу его, что если бы он только мог пошевелиться, то кинулся бы на Франциска, как тогда, на городской площади, где уличные мальчишки смеялись над ним; схватил бы его за горло и теперь, может быть, сделал бы то, чего тогда не сделал: задушил бы тут же, на месте.

XXIX

Таким светом озарилось лицо Франциска; всех оглянул (каждому казалось, что на него одного смотрит), поднял к небу глаза, поднял руки и голосом, которого не суждено было забыть никогда никому из слышавших его, воскликнул:

– Слушайте все! Был отцом моим донине Пьетро Бернардоне; но вот, я отдал ему все, что от него получил, и теперь уже могу сказать свободно: не отец мой, Пьетро Бернардоне, а Господь, Небесный мой Отец! К Господу иду я, нищ и наг! [111]

Все поднялись, и сделалось вдруг такое смятение в палате, как будто в ней вспыхнул пожар. Только один монсиньор Гвидо сохранил спокойствие и сделал именно то, что прилично было сделать князю Римской церкви: быстро сойдя с престола, обнял Франциска и покрыл наготу его своей фиолетовой епископской мантией, в знак того, что сына, отрекшегося от отца земного, приняла на лоно свое Церковь-Мать. Но так же было ровно-серо и холодно лицо его, как всегда.

Свел-таки все дело мудрый церковный политик к тому, чего хотел: сделал небывалое бывшим, новое – старым, необычайное – обыкновенным; и то, что не могло чем-то не кончиться, – кончилось как будто ничем.

XXX

Чей-то старый, до дыр изношенный плащ, такой же камзол и штаны, выданные Франциску, в палате суда, пришлись ему как раз по вкусу, – лучших бы себе не пожелал; только перед тем, чтобы надеть их, попросил кусочек мела и нарисовал на темно-коричневом сукне плаща, там, где он закрывал спину, большой восьмиконечный крест, чтобы издали и сразу было видно, кто одет в это платье и для чего. [112]

Прямо из палаты суда пошел Франциск на гору Субазियो, чтобы там, далеко от людей, сказать Богу то, чего не мог бы людям сказать, и чтобы радость, переполнявшую сердце его, в сердце Божье излить.

Было начало апреля. Предполуденное солнце пекло уже на Ассизских улицах, как в жаркое лето, а на горе все еще было свежо по-зимнему. Кое-где, на дне тенистых оврагов, лежал еще снег, и в дорожных колеях, под ногою Франциска, похрустывал тонкий ледок. Но тут же, рядом, в ярко-зеленеющей траве, уже зацветали фиалки и ландыши; черные, на старых дубах набухшие почки лоснились, и молодые березы вдаль уже прозрачно дымились первою зеленью. Солнце и здесь, кое-где на угревах, жгло сквозь ледок, и упоительно было это сочетание огня со льдом, как огненно-пьяное, в замороженном хрустале кипящее, вино.

Небо казалось Франциску таким голубым, что он все удивлялся, точно в первый раз увидел его и узнал, что оно может быть таким. Глазом человеческим почти никогда не зрима, как будто невозможная, чистота-нагота была в этом небе, – такая же, как в чудесно-обнаженном давеча перед людьми теле Франциска.

В солнце утопающий, невидимый жаворонок пел; пел и Франциск. Так же как всегда, в минуты «восхищения», *gaptus* (этого церковного слова не знал он и, может быть, узнав, не понял бы), он пел не на родном, а на чужом, всемирном для него, французском языке; знал его, впрочем, довольно плохо и коверкал смешно, но это его не смущало: чем смешнее, тем радостней. [113] Пел не церковную песнь (их тоже почти не знал), а мирскую, – одну из тех, что пели бродячие певцы-трубадуры и скоморохи на юге Франции, – с детства заученную песнь любви к Прекрасной Даме. Только сейчас узнал, как любит Ее, – оттого и радовался так.

*Gentile Donna! Gentile Donna!*

Прекрасная дама! Прекрасная дама!

– все повторял, глядя широко открытыми глазами в голубое небо, как будто звал и ждал Ее оттуда. И к старой песне прибавлял уже от себя два новых, забытых людьми, неизвестных имени: «Нагота» и «Свобода».

А когда умолкал, потому что все хотел и не мог вспомнить третье имя, самое забытое людьми, неизвестное: «Дух», то утопающий в солнце, невидимый жаворонок пел как будто за него; но ему казалось, что это не жаворонок, а его же собственное сердце поет в небе, умирая от блаженства.

XXXI

Вдруг, точно из-под земли, выскочили перед ним какие-то очень странные, но знакомые, как будто во сне, много раз когда-то виденные люди, с кривыми сарацинскими саблями, длинными ножами и дубинками, – все на одно лицо, тоже как будто знакомое, но прескверное (не для Франциска, впрочем: «скверным» не казалось ему ни одно из человеческих лиц, а разве только жалким).

Молча они окружили его, и один из них в высокой, волчьего меха острой шапке, положив ему руку на плечо, спросил:

– Кто ты такой?

«А сами вы кто?» – хотел было спросить Франциск, но, взглядевшись в лица их, понял, что они ему не ответят; да и бесполезно было спрашивать, потому что он сам уже догадался – вспомнил, так же как в знакомом сне, что это разбойники, «воры», а тот, в волчьей шапке – атаман.

– Я герольд Великого Царя! – ответил Франциск так изысканно-вежливо, как будто говорил с рыцарями рыцарь.

– Ну ладно, раздевайся! – велел ему атаман.

«Два раза в день раздеваться, не много ли будет?» – подумал Франциск с тихой усмешкой, но, опять взглядевшись в их лица, понял, что им лучше знать, и снял плащ: хотел было стереть на нем нарисованный мелом крест, но не успел: кто-то выхватил плащ. Сняв и камзол, отдал его сам; начал было снимать и штаны.

– Стой, погоди! – остановил его атаман, вывернул карманы штанов и, не найдя в них ничего, кроме дыр, сказал:

– Нет, не надо, – рвань! Да и куда ты без штанов пойдешь!

Но башмаки, еще довольно крепкие, велел снять. Кто-то, пощупав ткань на рубашке, добротна ли, тоже велел снять, но другие сказали:

– Полно, оставь – утренники нынче холодные!

Что-то о Добром Разбойнике хотел было вспомнить Франциск, но не успел. Разбойники, схватив его за руки и за ноги, подняли, раскачали и кинули в довольно глубокую, талым снегом полную яму. Все захохотали, и кто-то крикнул ему сверху:

– Доброй ночи, герольд, и поклон от нас Великому Царю! [114]

XXXII

В яме было много снега, а под ним – куча прелых листьев. Мягко упав в нее, Франциск не ушибся, но угруз и долго барахтался, пока наконец, ухватившись за сучья свалившейся в яму сухой сосны и с трудом по ней карабкаясь, не вылез.

Весь до костей промок в ледяной от талого снега воде, – посинел и дрожал так, что зуб на зуб не попадал.

Плохо бы ему пришлось, если бы пал духом; но смутно, как сквозь сон, помнил, что все это с ним уже было где-то, когда-то и все хорошо кончилось.

«Третья по счету, яма, – подумал он вдруг, с тихой усмешкой. – В первую, – от отца спрятался, во вторую, – отец посадил, и вот – третья. А сколько еще будет впереди?» Но, сколько бы ни было, знал, что вылезет из всех или кто-то вынесет его, – и кончится все хорошо.

XXXIII–XXXIV

Вышел на лесную поляну, где солнце пекло, ударяя с полдня прямо в стену красновато-желтого песчаника. Сняв штаны и рубашку, развесил их сушиться на сучьях кустарника и, чтобы согреться, начал скакать, плясать голый на солнце.

Был плясуном прирожденным: как все живое умеет дышать, не учившись, так он умел плясать.

Все его движенья были так легки, что казался порхающей бабочкой: вот-вот, казалось, выше вспорхнет и улетит.

Солнце на небе пекло, а другое солнце, по мере того как он плясал, всходило в нем самом, и это, внутреннее, было горячее того, внешнего; так между двумя солнцами, голый, плясал.

Вдруг остановился, прислушался. Жаворонок в небе больше не пел или так высоко поднялся, что не слышно было, как поет. Но множество других птиц пело в лесу, как будто все они хотели утешить и ободрить его, сказать, что все будет хорошо.

«Сестры!» – подумал он с тихой улыбкой и, как будто удивляясь и радуясь, что вдруг понял – вспомнил, несколько раз повторил: «Сестры, Сестры-Птицы!» Теплую землю, переступив босыми ногами, пощупал и обрадовался: «Мать!» Вспомнил, как давеча воры, сжалившись над ним, оставили ему штаны и



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoff.org  
рубашку, и обрадовался еще больше: «Братья!»

И опять начал плясать, еще радостней, между двумя Солнцами.

Сколько времени прошло, не помнил, все в мире забыл, и время для него остановилось. Но когда согрелся так, что сделалось жарко, то кончил плясать и, подойдя к тем кустам, где развесил одежду, пощупал: высохла. Одевшись, вышел на лесную дорогу в соседнее горное местечко, Губбио, и, пройдя немного, увидел в лесу бедную пустыньку. Постучался в ворота. Долго не отпирали. Отпер наконец старый инок, с почти таким же серым и холодным, ноябрьским лицом, как у монсиньора Гвидо.

– Кто ты такой? – спросил его так же нелюбезно, как давеча разбойники.

– Послушник от св. Демиана, – ответил Франциск. – Воры в лесу, раздели. Старенькой бы ряски, да хлеба, ради Христа!

Молча, с головы до ног, оглянул его старик, как будто хотел сказать: «Сам бы кого не раздел!», но все-таки впустил.

Несколько дней прожил Франциск в пустыньке, работая за четверых: стряпал, мыл полы, таскал воду, колол дрова, и получал за все такие объедки, что не всякий пес на них польстился бы.

Убедившись, наконец, что одежды никогда не зарабатывает, ушел в Губбио, где, отыскав приятеля, гостя ночных пиров своих, получил от него то, чего хотел, – темную, грубого сукна одежду, наподобье монашеской, такой же плащ с куколем, кожаный пояс, пару деревянных башмаков да посох. И, радуясь, что кончилось-таки все хорошо, вернулся в Ассизи, к св. Демиану. [115]

XXXV

Снова принялся чинить церковь, выпрашивая по домам, ради Христа, тесаных камней, кирпича, извести, старого железа, досок и прочего; а также ладана, свечей, масла для церковных служб, пшеничной муки и вина для Причастия, а себе на пропитание, – объедков. Деньги брал неохотно и торопился их сбыть, как будто они жгли ему или пачкали руки.

Милостыню выпрашивал большею частью на французском языке, с прибаутками, как нищие скоморохи и трубадуры на юге Франции.

– Кто даст один кирпич или камень, одну получит награду; кто же два – две; кто же три – три! – добавлял уже по-итальянски, чтобы всем был счет понятен, и делал это с такой любезной улыбкой, что самых грубых и злых людей обезоруживал. [116]

Уличные мальчишки все еще бегали за ним, кричали ему «дурака» и кидали в него грязью, но уже не так весело, как прежде: одним наскучило, а другим доставалось за это от взрослых, потому что и у тех проходила охота смеяться над ним: как бы все ни забыли того, что смутно почувствовали, увидев чудо обнажения в палате суда, – помнили доевогу за себя и за все, чем доньше жили и чем все люди живут. Если бы человек заболел никому не известной, никогда не виданной болезнью, то здоровые испытывали бы нечто подобное: «Как бы не заразиться и нам!»

Слишком для всех было очевидно, что если «французик» всегда шутил, то теперь уже не шутит; слишком удивительно было это внезапное превращение белоручки-неженки в чернорабочего, чтобы, проходя мимо него, не взглянуть с любопытством, как наваливает он себе груз кирпичей на слабые плечи, терпеливо носит на стройку камень за камнем, бревно за бревном, точно муравей – песчинку за песчинкой. И весел всегда: ходит, как пляшет; говорит, как поет; работает, точно играет; нищенствует – царствует, с таким видом, как будто что-то знает, чего другие люди не знают, а если бы знали, то хорошо было бы всем, так же как ему.

Многие ходили к св. Демиану посмотреть, что и как он там чинит и строит, а так как совестно было, сложа руки, смотреть, как человек работает в поте лица, то помогали ему, особенно каменщики, которые охотно учили его мастерству своему, и он был так понятлив, что скоро сделался и сам недурным каменщиком.

С каждым днем приходило к нему все больше помощников, и работа наконец закипела так, что в немного дней церковь вся была починена, а кое-где и заново отстроена; рушащийся дом Господен обновлен. [117]

XXXVI

Радовался этому Франциск, но недолго: вдруг случилась с ним такая беда, какой меньше всего он мог ожидать.

«Сын, не бойся отца», – это повеление, услышанное им перед тем, чтобы выйти из первой темной дыры на свет Божий, он хорошо помнил, только оно и дало ему силу «покончить с отцом» (выразить того, что он сделал, нельзя было точнее, чем этими страшными словами: «с отцом покончить»). Но оттого-то, может быть, и случилась беда, что «покончил» не совсем.

В первые дни после епископского суда мессер Пьетро, встречая Франциска на улице (слишком был мал городок, чтоб не встречаться), не замечал его как будто вовсе и даже проходил нарочно мимо него, как мимо пустого места. Но потом, когда пошла по городу молва о новоотстроенной церкви Св. Демиана и все заговорили о Франциске уже по-новому, с любопытством и удивлением, мессер Пьетро однажды, увидев сына, подошел к нему с таким страшным лицом, что казалось, бросится на него сейчас и убьет; но только молча, заглянув ему прямо в лицо, отошел. Так же точно и на следующий день, а на третий, отойдя немного, вдруг остановился, обернулся, поднял руки и закричал таким голосом, что слышавшие долго потом не могли его забыть:

– Будь ты проклят, проклят, проклят, окаянный!..

Множество бранных слов вылетало из уст его, но, видимо, ни одно из них не утоляло его, не выражало того, что он чувствовал, а выразить это надо было ему, чтоб не задушил гнев, как стянутая на горле мертвая петля. И он все искал, искал и не находил. Вдруг нашел, – петля развязалась, – он передохнул и, видимо радуясь тому, что нашел-таки слово, закричал неистово:

– Отцеубийца!

И сразу умолк, затих, – пошел в одну сторону, а Франциск – в другую. Так разошлись, как будто сказали друг другу, что надо было сказать, и друг друга поняли.

Понял мессер Пьетро, – понял и Франциск, что значит: «покончить с отцом» – «отца убить».[118]

### XXXVII

Смутная память о том, что пережил он в эти дни, уцелела, может быть, в чудовищной легенде о «наемном отце» Франциска. Выбрав будто бы самого жалкого, глупого, старого нищего, он назвал его «отцом» своим, по плоти, и обещал отдавать ему большую часть собранной милостыни, с тем чтобы тот крестил его и благословлял каждый раз, как отец будет проклинать.[119]

Боли не чувствует параличный, когда втыкают иглу в отмершую часть тела его или прижигают ее раскаленным железом; но если смотрит слишком пристально, как игла вонзается в тело, или слишком внимательно принюхивается к запаху жженого мяса, то может дурноту почувствовать: нечто подобное испытывал, должно быть, и Франциск, слушая или вспоминая проклятия отца, – особенно то последнее, как будто нелепое, но в какой-то одной точке, – может быть, и в отмершем теле живой, – верное слово: «отцеубийца!»

«Сын, не бойся отца»: он и не боялся; не было ни страха, ни боли, но оттого-то и находило на него то, что хуже боли и страха, – как бы дурнота, тошнота смертная.

Медленно-медленно находило и вдруг совсем нашло, и он понял, что снова «провалился в дыру», – четвертую, худшую изо всех, потому что выйти из нее некуда: дыра – весь мир.

Самое мучительное, смертной тошноте подобное, было для него не то, что он видел перед собою и о чем думал ясно, а то, что мелькало где-то около него, как прозрачно-туманное страшилище; не мысль, а всех мыслей конец – безумие: в первую дыру сам от отца спрятался, во вторую – посадил его отец, в третью, – кинули разбойники, а в эту, четвертую, – Кто? Этого не спрашивал он, но с этим боролся, в томлении смертном, чтобы не спросить. Вот что, может быть, и вспомнит через много лет: «Самое тяжкое, что пришлось мне вынести в жизни, – это».

### XXXVIII

Самым тяжким для него было в эти дни одиночество. О, если бы хоть кому-нибудь сказать о муке своей, – сразу, кажется, стало бы легче! Но вот некому: знал, что люди смотрят на него, как на плясуна канатного: любопытно, странно, и, может быть, всем хочется втайне, чтоб сорвался, упал, убился до смерти.

Вдруг вспомнил одного человека, который смотрел на него не так.

Давний хороший знакомый, но не друг (не было у него настоящих друзей; были только застольные товарищи), мессер Бернардо да Квинтавалла, ровесник Франциска, тоже сын купца (но отец у него умер), был одним из самых богатых и знатных граждан Ассизи. Вскоре по возвращении Франциска из Губбио, в самые счастливые дни его, зазвав его однажды к себе, провел с ним Бернардо всю ночь в задушевной беседе. Очень умно, осторожно и бережно избегая говорить об отце его (чувствуя, должно быть, что это слишком для него больное место), расспрашивал его, как и почему ушел он из мира. Когда же Франциск напомнил ему слово Господне: «Трудно богатому войти в царство Божие», – мессер Бернардо заговорил о себе и о своем богатстве так, что Франциск подумал было с внезапной радостью: «Не хочет ли и он сделать, как

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoff.org  
я?» – но потом усомнился: «Нет, слишком богат, знатен, счастлив, умен и... на канате плясать не умеет!» Но все-таки радовался, чувствуя, как могут они сделаться близки и нужны друг другу.

Часто и потом, встречаясь, беседовали они и с каждой беседой сближались все больше, но до какой-то черты, от которой Бернардо «отходил с печалью», как отошел от Господа богатый юноша, услышав: пойдя, продай имение свое и раздай нищим и, взяв крест свой, следуй за мною (Мк. 10, 21. – Мт. 19, 21).

Вот о ком вспомнил Франциск, подумав, что есть один человек, который смотрит на него не так, как на плясуна канатного.

XXXIX

В тот же день, проходя, в сумерки, по пустынной улице, услышал он за собою шаги и, обернувшись, увидел Бернардо.

– Пойдем ко мне: надо мне поговорить с тобой о важном деле...

– Нет, не могу, – ответил Франциск, почувствовав вдруг, что если надо ему таить муку свою ото всех, то от Бернардо больше, чем от кого бы то ни было; сам не знал отчего, – может быть, не хотел тащить его за собой в «дыру», а что он его, Франциска, не вытащит, слишком был уверен.

– Нет, не могу! – все повторял, не зная, как от него отделаться; лгать не умел.

– В самом деле, не можешь? Ах, горе... Да нет, ради Христа, пойдем... Я бы так, без нужды не просил...

Что-то было в лице и голосе Бернардо, чему Франциск не мог противиться; да и вдруг ослабел так, что, в эту минуту, всякий мог сделать с ним все, что хотел. Пошел.

Дом Бернардо был в нескольких шагах от улицы, где встретились они. Войдя с гостем в дом, хозяин, так же как в первое свидание, провел его в свою комнату, зажег свечу, запер дверь на ключ, усадил Франциска, сел против него и начал:

– Слушай, Франциск. Все эти дни я много думал о себе, о тебе и о Нем и вот что решил...

Вдруг взглядевшись в лицо Франциска, остановился: только теперь, при свече, увидел его, – давеча на улице, в сумерках не разглядел как следует. Долго молчал, вглядываясь все пристальней, как будто не узнавал, глазам своим не верил, что это он.

– Что ты, Франциск, что с тобой? – проговорил наконец.

– Ничего, говори, я слушаю, – ответил Франциск таким же, как лицо его, незнакомым голосом, и медленно-трудно, как бы с нечеловеческим усилием, губы его искривились странным подобием улыбки: если бы улыбнулся мертвец, было бы так же страшно; медленно-трудно, как будто с тем же усилием нечеловеческим, поднял руки и закрыл лицо.

«Отцеубийца!» – вспомнил Бернардо и вдруг понял все и провалился в ту же дыру, как Франциск.

– Господи! Господи! – прошептал, и губы его искривились таким же подобием улыбки, как у Франциска: точно мертвец мертвецу улыбнулся. Но в ту же минуту воскликнул громким голосом, как будто звал на помощь и знал, что будет услышан:

– Мать Божья! Мать Божья!

И, едва воскликнул, – две могучих руки обняли Франциска (понял он только потом, что это руки Бернардо), обняли, подняли, вынесли, как два могучих крыла, из темной дыры в светлое небо, где сердце его утонуло в блаженстве, как утопает жаворонок в солнце.

Так же точно и Бернардо обняли, подняли, вынесли два могучих крыла – две могучих руки (понял и он только потом, что это были руки Франциска).

Плакали оба от радости, обнявшись. Как молния сплавляет два металла в один, радость эта сплавила два сердца в одно.

В ту же ночь сказал Бернардо Франциску, что решил, продав имение свое и раздав его нищим, последовать за Господом. [120]

«Первый, данный мне Господом брат, – Бернардо, – вспомнит Франциск, умирая. – Первый исполнил он в совершенстве евангельскую заповедь: роздал все свое имение нищим. Вот почему я люблю его больше всех братьев, и хочу, и приказываю, чтобы все наместники Братства любили его и почитали, как меня самого». [121]

XL

Сила одного человека силой другого не вдвое, а бесконечно умножается в братстве, как отражение в двух зеркалах, поставленных друг против друга и углубляющих друг друга до бесконечности: так сила Франциска умножилась силой Бернардо. Тотчас же за ним последовали и другие братья, – простые

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
люди и знатные, бедные и богатые, невежды и ученые. Души человеческие зажигались, как свечи, одна о другую. Если одна звезда на небе затеплилась, то скоро все небо будет в звездах.

С первыми тремя учениками – Бернардо, Пьетро да Каттани, соборным каноником, юрисконсульту и законоведом учнейшим, и священником Сильвестром, [122] – сойдя с горы св. Демиана в долину Портионкулы, к Богоматери Ангелов, принялся Франциск чинить и эту церковь, такую же ветхую и полуразрушенную, как та, св. Демиана. Но, так как работали уже четверо, и братьев с каждым днем прибывало все больше, то работа и здесь закипела не хуже, чем там.

Братья жили в соседнем дремучем лесу, Риво-Торто, сначала в отдельных кельях, – низких и тесных, из ивовых прутьев и глины, крытых соломой мазанках, а потом построили общую, большую, но такую же бедную. [123] Милостыню собирали в Ассизи и окрестных селеньях. Толстого и жесткого войлока, темно-коричневого, «звериного» цвета одежда, у всех одинаковая, не отличалась ничем, кроме белых, на куколях, крестиков, от одежды горных поселян и пастухов. [124] кто они, иноки или миряне, недоумевали все. «Дикими лесными людьми», *silvestres homines*, называли их одни; женщины, завидев их издали, пугались, как леших; а другие считали их просто бродягами или даже разбойниками. [125] Когда же их самих спрашивали: «Кто вы такие?» – они отвечали одним: «Кающиеся люди из Ассизи», а другим: «Скоморохи Божьи, *joculatores Dei*, возносящие сердца людей и пробуждающие в них радость о Духе Святом». [126]

#### ХLI

«Раем Серафимским», *Paradisus Seraphicus*, назовет легенда эту первую пустыньку Блаженных Нищих в Портионкуле, «Частице Земли», – первой точке царства Божия на земле, как на небе. [127] жили они, воистину, как первые люди в раю.

Вот мы оставили все и пошли за Тобой, что же нам будет за то?

(Мт. 19, 27), – не спрашивали Господа, как Петр, потому что уже получили во сто крат больше того, что оставили. Вышли из мира – темной дыры и увидели свет. Жить перестали, – начали быть; душу свою потеряли, – нашли. Поняли, как понял Франциск, глядя в несказанно голубое небо на горе Субазियो, какое блаженство – нищета, нагота, свобода. Солнцу, небу, облакам, и лицам зверей, и лицам человеческим радовались так, как будто в первый раз их увидели.

Рыцари Прекрасной Дамы, нищеты, все были влюблены в нее; оттого что об этом узнали, – и радовались так, и, с каждым дыханием, с каждым биением сердца, что-то в них пело: «Свобода! Свобода! Свобода!»

#### ХLII

В день обновления церкви, 24 февраля 1209 года, день св. евангелиста Матфея, священник из Бенедиктинского аббатства на горе Субазियो отслужил обедню у Богоматери Ангелов. В этот день читалась за обедней 10-я глава Евангелия от Матфея, напутственное слово Господа Двенадцати.

Только что священник, обратившись к пастве, произнес:

*ite et docete,*

идите, проповедуйте, – как послышалось Франциску, что это говорит ему не священник, а сам Иисус, так же, как тогда, в церкви св. Демиана, сошедший с креста.

Идите, проповедуйте, что приблизилось царство небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром и давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса ваши, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания... Вот Я посыл

«Вот чего я хочу! вот чего я жажду!» – подумал Франциск с такою радостью, с какой человек, прошедший знойную пустыню и увидевший вдруг свежую воду, хочет сбросить с себя все, обнажиться и кинуться в воду. Был уже наг? Нет, все еще слишком одет.

Тотчас после обедни выйдя из церкви, сбросил плащ, снял деревянную обувь, опоясался, вместо кожаного пояса, веревкой, кинул посох, кинул суму. [128] что бы кинуть еще, от чего обнажиться, не знал. О, если б снять рубашку с тела, как в палате суда, – не устыдиться пред лицом всего мира наготы своей и Его, Распятого!

То же сделали и все ученики Франциска: поняли, чего хотел, – сердцем услышали молитву его: «Даруй мне нищеты Твоей совершенной, нищий из нищих, нагой из нагих, Иисус!»

## XLIII

«В те дни, – вспоминает легенда, – когда приходило к Франциску столько людей, что он уже думал соединить их в Братство и не знал, как это сделать, было ему видение во сне: к маленькой черной курочке теснилось такое множество цыплят, что она не знала, как собрать их всех под крылья свои. А проснувшись, подумал он: „Черная курочка – я, а множество цыплят – множество людей, идущих ко мне, с которыми я не знаю, что делать... Но знает Святая Римская Церковь: к ней-то я и пойду, ей-то и вверю все дело мое“». [129]

## XLIV

Чтобы идти в Рим, надо было сочинить устав нового Братства. Но не было в мире человека менее Франциска к этому способного. Чувствовал он это, должно быть, и сам: вместо правила записал, или с голоса его записали другие «в словах кратчайших и простейших», то, что слышал он из уст самого Иисуса тогда, во время Портионкульской обедни, о блаженстве нищих. С этим и пошел в Рим, летом 1210 года.

Знал ли, что в тот самый день, как пошел, – «Серафимскому раю» наступил конец?

## XLV

Папа Иннокентий III, как ни был умен, не мог понять, чего хотят от него эти странные, «дикие, лесные люди», *silvestres homines*, – Франциск и одиннадцать пришедших с ним братьев. «Жить, – говорили, – хотим по Евангелию». Многие уже приходили с этим в Рим: альбигойцы, патарины, бедняки лионские, ученики Арнольда и сколько еще других! Все они хорошо начинали, но кончали скверно – бунтом против Церкви и ересью. Где же была порука, что и эти так же не кончат? [130] Если хотели, в самом деле, только «жить по Евангелию», отчего не постригались в любое из монашеских братств? – «Новое Братство повелел мне основать Господь», – повторял с тихим упорством Франциск или молчал с таким видом, как будто знал что-то, чего не мог или не хотел сказать никому. [131]

«Прост и глуп, *simplex et idiota*, и глупостью может наделать беды», – решили наконец о Франциске все приближенные папы. [132] С тем, что Франциск может беды наделать, соглашался и папа, но не с тем, что он глуп. «Кто это? что это?» – недоумевал он, вглядываясь в лицо его, вслушиваясь в речи: с папой говорил он хотя почтительно, но так, как мог бы говорить и с последним из Нищих Братьев.

Что было делать с ним папе? «Нет, не благословляю жить по Евангелию», – нельзя было прямо сказать, но и благословить непонятное – опасно. «Правило твое, сын мой, кажется нам трудным, сверх сил человеческих, – ответил он осторожно, умно. – В ревности твоей мы не сомневаемся, но должны думать и о тех, кто за тобой последует: будет ли им под силу жить, как ты живешь? Люди слабы, и добрая воля их редко бывает постоянной. Ступай же и молись, чтобы Господь открыл тебе волю свою, а мы еще подумаем».

Но сколько ни думал, – ничего не мог придумать, а в созванном по этому делу совещании кардиналов почти все решили, что дело, начатое Франциском, есть «нечто небывалое в Церкви и невозможное».

– Если мы это признаем, то отречемся от Евангелия и Христу поругаемся! – возмутился кардинал Джiovани Колонна, и вдруг все притихли, как будто заговорил он о веревке в доме повешенного. [133]

«В ту же ночь, – добавляет легенда, – вещий сон приснился папе: стоя будто бы в высоком тереме-лодгии Латеранского дворца, видел он, что стены древней базилики Константина, как бы от тихого землетрясения, шатаются; трещины зияют в сводах; гнутся башни, зыблются столпы, точно тростники под ветром, – вот-вот рушится все. Вдруг, откуда ни возьмись, маленький человечек, в нищенском рубище, босой, войдя в базилику, начинает расти, расти, – и, выросши в исполина, своды подпер головой, стены выпрямил, все рушащийся дом Господень поддержал и укрепил; а когда обернулся лицом к папе, тот узнал в нем Франциска». [134]

## XLVI

Снова призвав двенадцать Нищих Братьев, папа сказал им так:

– С миром ступайте, дети мои, проповедуйте миру покаяние, как внушит вам Господь. Когда же умножит Он вас в числе и укрепит в благодати, возвращайтесь к нам, без всякого страха, и мы благословим вас на все, о чем вы просите, а может быть, и на большее.

Пав к ногам Святейшего Отца, Франциск благодарил его так, как будто получил уже все, о чем просил, и обещал ему послушание сыновнее.

Тут же кардинал Колонна их всех и постриг. [135]

Так ничего и не решил папа, не ответил Франциску ни «да», ни «нет» на вопрос: «Можно или нельзя жить по Евангелию?» – не принял его и не отверг, не благословил и не проклял; сделал то же, что монсиньор Гвидо, в палате суда, и что, в вопросах сомнительных, делали и будут делать всегда мудрые политики Римской церкви, – небывалое сделал бывшим, новое – старым, необычайное – обыкновенным; свел все ни к чему. [136]

#### XLVII

Слишком умен был Франциск, чтоб не понять, что произошло в Риме. Первый устав не был тогда утвержден, а потом исчез куда-то бесследно: был, говорили, потерян, а на самом деле уничтожен, кем и для чего, знали, может быть, кардиналы, которым желание Франциска «жить по Евангелию» казалось «небывалым и невозможным». [137]

Дело более важное, чем слова папы Иннокентия III, сделали ножницы кардинала Колонны: выстригши на голове Франциска лысинку тонзуры, сделали его, противособственника, вечною собственностью Римской церкви. Знал ли это Франциск? Чувствовал, во всяком случае.

#### XLVIII

Два великих дела предстояли ему отныне: «Правило» и проповедь. Надо было ему и ученикам его исполнить то, что возложил на них Иисус: «Идите, проповедуйте», – и то, что сами они на себя возложили: сделать свободу законом, блаженство – «Правилом». Это было очень трудно, как бы, в самом деле, «сверх сил человеческих», и было бы совсем невозможно, если бы Франциск с этим не родился, и это, для других внешнее, – «закон», для него самого не было внутренним, – свободой; только для него одного сначала, а потом – и для других, через него.

Чтобы совершить это чудо, надо было Франциску не научить приходивших к нему, а пересоздать, – как бы родить небывалую породу людей, – «Нищее племя», *gente poverella*, по слову Данте. [138]

Это он и делает: в муках, как мать, рождает новых людей.

Дети мои! я снова для вас в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, – мог бы сказать и он, вместе с Павлом (Гал. 4, 19). Новую душу и новое тело дает он этому «нищему племени».

#### XLIX

Слушая однажды чтение первого Устава, или Правила, где сказано: «Малыми да будут братья, *minores*, – наименьшими из всех людей», – Франциск, остановив читавшего, воскликнул: «Вот наше имя!»

Новому племени – «Братству Малых», *ordo fratrum minorum*, имя это дано было самым Иисусом: «Что вы сделаете одному из малых сих, наименьших, – вы делаете Мне». [139]

Все вообще люди, особенно малые, хотят быть великими; только эти великие – Нищие Братья, хотят быть малыми, Воля к малости, так же как воля к нищете, – не только в душе у них, но и в теле.

Чувство собственности уходит последними корнями своими в плоть и кровь человека: собственность – «чувственность» особого рода, – очень древняя, а может быть, и вечная, такая же в человеке неискоренимая, как инстинкт – в животных. «Моя одежда, мой дом, моя земля», – продолжение моего тела; к ним прикоснуться – прикоснуться к нему; на них посягнуть – посягнуть на него.

В новом теле нового «племени Бедных», *gente poverella*, рождается и новая чувственность, противоположная, и такой же силы, как древняя, а может быть, и большей: противочувственность – противособственность.

«Брат, откуда ты?» – спросил однажды Франциск. «Из твоей кельи», – ответил брат. «Если келья – моя, пусть живет в ней другой, а я не хочу!» [140]

Первое, невольное движение здесь не в душе, не в уме, а в теле; прежде чем подумать что-нибудь, – он уже чувствует в самом сочетании этих двух слов: «келья – моя» – как бы дурной запах, такой же для него страшный и гнусный теперь, как некогда запах от прокаженного, и место, откуда запах идет, сразу навсегда ему опротивело. Ест из одного блюда с прокаженными, но не с богатыми: хуже, заразительней, опаснее проказы для него собственность. [141]

С эту «перевернутой», «опрокинутой», «противоположной чувственностью» он сам родился «вторым рождением, свыше»; с нею же рождает и детей своих, –

L

«Если бы оказались деньги у кого-нибудь из братьев, да будет он для всех ложным братом, – вором, разбойником, собственником», – скажет Франциск, в Уставе 1221 года.[142] Три для него нисходящие ступени человеческого зла: вор, разбойник, собственник; а четвертая и последняя, – зло уже не человеческое: князь мира сего, диавол, Мамон.

Но если хуже вора, хуже разбойника-убийцы, – собственник, что же значит: «не укради» – «чти чужую собственность»? Эту заповедь как бы выжигает он из сердца детей своих тем же огнем Сына, которым выжигает из своего сердца ту заповедь: «чти отца своего». Как бы духовное «отцеубийство», начатое в первой половине жизни Франциска, продолжается и здесь, во второй.

Невыносимо тяжким и страшным это кажется нам, извне, без опыта; но в том-то и чудо, что, может быть, изнутри, на опыте, это показалось бы нам радостным и легким: иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мт. 11, 30).

LI

Граждане ассизские, в ожидании многолюдного собрания-капитула Меньших Братьев, построили, в отсутствие Франциска и без его ведома, большой каменный, красиво побеленный и крытый черепицею, дом в Портионкуле, рядом с жалкой, крытой соломой, хижиной из ивовых прутьев и глины, где кое-как ютились Братья. Но только что Франциск, вернувшись в Портионкулу, увидел этот каменный дом, как влез по лестнице, на крышу, велел влезть и Братьям. Общими усилиями начали они сдирать с нее черепицы и кидать их на землю, желая разрушить дом до основания, чтобы очистить от скверны святую землю, удел Марии Ангелов.

– Что ты делаешь, брат? – закричали Франциску подоспевшие на место разрушения ассизские воины. – Это наш дом, а не твой!

– А если ваш, так я его не трону! – ответил Блаженный и тотчас же, прекратив разрушение, слез с крыши и Братьям велел слезть.

Все в этой легенде прозрачно-прообразно. Monstrum, «чудовищем», называет она этот, в самом деле, чудовищно нелепый здесь, в блаженной пустыньке Нищих Братьев, «Серафимском раю», каменный дом – первенец всего того великого или только огромного зодчества, которое мы называем «культурой», «цивилизацией». Кровельные черепицы сдирает с этого дома Франциск, как чешую с допотопного, бывшего, или апокалипсического, будущего, Зверя-Чудовища. «Это наш дом, а не твой», – остерегают Франциска воины пророчески. – «Ваш дом – Град Божий, Civitas Dei, жалкая глиняная мазанка, а наш, – Град Человеческий (что может быть и „диавольский“, Civitas diaboli, – они еще не знают), – этот великолепный каменный дом».

Так, от разрушителя – «возмутителя всесветного», такого же, как Павел, как сам Иисус, – от св. Франциска, святого «Коммуниста» – «Противособственника», защищают грешные воины «Святую Собственность».

LII

Кажется, Данте не очень любит Франциска, хотя и знает, что надо, и хотел бы очень любить.[143] Но кое-что все-таки глубоко понял Данте в рыцарской любви Франциска к «Прекрасной Даме, Бедности», – может быть, по опыту своей любви к Беатриче; понял, во всяком случае, что эта любовь, которая нам кажется иногда неживой, недействительной, потому что слишком бесплотной, – на самом деле входит в плоть и в жизнь.

Отроком еще, бежав от отца к этой Даме, которой, так же как Смерти, никто не открывает дверей охотно, он сочетался с Нею браком и, с каждым днем, любил Ее все больше и больше. Первого мужа лишившись, оставалась Она до Франциска вдовой, презренная всеми больше тысячи ста лет... не быв почтена, и за такую любовь непреклонную, что, тогда как Мария стояла у подножия креста, Она взошла на крест, чтобы страдать со Христом... Двух разумею Любовников – Франциска и Бедность. Их мир и согласие, их светлые лица и чудо любви в их благодных взорах мысли святые рождали во всех.[144]

Данте прав: не было у Прекрасной Дамы, Бедности, после первого Возлюбленного, Иисуса, другого, подобного св. Франциску, и, может быть, не будет: «Два любовника – Франциск и Бедность, Francesko e Povetra... amanti», – верно понял Данте: между Франциском и Бедностью – чувственный, кровный, плотский, брачный союз, – более страстный, чем у жениха с невестой, – такой же, как у любовника с любовницей или у мужа с женой. Если

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
мы не поймем этого, мы ничего не поймем в деле Франциска.

В несколько холодной похвале Данте самое верное, потому что самое чувственное, огненное, как искра из раскаленного горна, из сердца самого Данте вылетающее слово: «лютое»: к первому Мужу, Христу, и ко второму, – св. Франциску, любовь Жены, Бедности, «непреклонно-лютая», *constante e feroce*. Верно соединяются у Данте, под знаком Францисковой святости, три страшных Сестры, одна «лютее» другой: Бедность, Любовь, Смерть.

Крепка любовь, как смерть;  
люта, как преисподняя ревность.

«Люта, как преисподняя» и Бедность. Вот откуда такое невероятное для нас, но все-таки верное сочетание слов: «св. Франциск – Жестокий, Лютый», *Sanctus Franciscus Ferox*. Здесь – «опрокинутое», «перевернутое», «противоположное» лицо св. Франциска неизвестного.

#### LIII

Идучи однажды в Болонью, случайно узнает он, что в этом городе построен дом для Нищих Братьев, и, только что слышит эти два слова: «Дом Братьев – наш дом», – поворачивает назад и велит выселить из него всех братьев, из этого дома, чтобы нога их в него никогда уже не вступала под страхом проклятия Божия. Так и сделали: тотчас же все вышли из дома, а кто не хотел или медлил, тех принудили силой, – в том числе и больных, – всех «выгнали», «выкинули вон», по слову легенды, видимо вовсе не подозревающей, что словом этим она, быть может, и не делает чести св. Франциску. Кончилось, однако, все это тем, что кардинал Уголино объявил торжественно, с церковной кафедры, что дом принадлежит ему, а не братству Нищих. [145]

«Милости хочу, а не жертвы», – вспомнил ли бы об этом Франциск Милостивый, если бы сам, своими глазами, увидел, как больных выгоняют, «выкидывают» на улицу? В самой возможности такого вопроса уже «лютый» любовник «той, которой, так же как смерти, никто не открывает дверей своих охотно». Вот где «противоположное», «преисподнее» лицо Франциска неизвестного: «люта, как преисподняя, ревность».

Людам грешным, как мы, слишком легко осудить за это святого, извне; но изнутри, в опыте, не так-то, может быть, легко. Только усилием нечеловеческим, до вывиха членов, ломания костей, можно было сделать что-нибудь с такою страшною силою, как Собственность; с меньшим усилием свелось бы все ни к чему. Сила против силы; страсть против страсти; «противособственность» – как бы опрокинутая, перевернутая скупость: вместо бывшей алчности к богатству, новая алчность к нищете.

#### LIV

Денежный знак, золотой, серебряный, медный, – как бы чистейший химический кристалл собственности – самого бога Мамона, князя мира сего, людьми намеленный, намагниченный, фетиш. «Черную магию» собственности чувствует скупой в желтом блеске и звонком шелесте переливающегося между пальцами золота; чувствует ее, осязает, видит и слышит скупой; «противоположно-опрокинуто», но так же осязательно чувствует ее и святой; кажется, Франциск, так, как никто из святых.

Кто-то из братьев, взяв несколько серебряных монет, положенных под распятием в церкви Богоматери Ангелов, бросил их на подоконник; но тотчас же, почувствовав, что сделал неладно, побежал, как виноватое дитя, к Франциску – «Матери», пал перед ним на колени, признался в вине и попросил его наказать. «Строго укорил его Блаженный за то, что он прикоснулся к деньгам, и велел ему, взяв ртом монеты с подоконника, отнести их за ограду обители и выплюнуть на кучу ослиного помета. И пока он это делал, видевшие то, ужасались». [146]

В деньгах – «сила нечистая»: в них совершается нечто подобное «черной обедне», – «пресуществление» меди, серебра и золота в тело дьявола: вот чему они «ужасаются».

#### LV

Кто-то из братьев, найдя на дороге серебряную монету, хотел ее поднять для подачи милостыни прокаженным. Когда же другой, шедший с ним, брат напомнил ему правило Устава «попирать найденные деньги, как сор», – тот, будучи упрям, только посмеялся над ним и поднял монету; «но только что он это сделал, лишился языка и, скрежеща зубами, не мог произнести ни слова, пока наконец не кинул этого навоза туда, где его нашел; только тогда открылись вновь уста его, и он прославил Господа». [147]

«Силу нечистую», заключенную в деньгах, яснее всего вынужден был



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
обнаружить сам дьявол, когда, по молитве Франциска, для научения одного неопытного брата, выползла из найденной им тоже на дороге туго набитой кошны «довольно большая змея». [148]

Если бы кто-нибудь напомнил Франциску, что у самих двенадцати Апостолов были деньги, то мог бы напомнить и он, что денежный ящик имел при себе Иуда Предатель, и что нужной для уплаты храмовой дани, мелкой серебряной монеты не оказалось ни у кого из Двенадцати, и что сам Иисус, отвечая на вопрос о подати кесарю, сказал фарисеям: не «подайте» и «покажите Мне динарий», – может быть, потому, что не хотел осквернить рук своих деньгами.

Но как «приобретать друзей богатством неправедным, чтобы с ними войти в вечные обитатели»; и почему «пришло спасение» дому Закхея-мытаря, раздавшего нищим только половину имения, – этого Франциск не понял бы: здесь уже невидимая для него часть евангельского спектра – непонятная для него свобода Сына в Духе, – то, что Иоахим называет «Вечным Евангелием».

#### LVI

«Только одного хотел Блаженный, – чтобы соблюдали братья всегда и во всем букву Евангелия», – говорит легенда, забывая, что само Евангелие – не буква, а дух. [149] Но все же легенда отчасти права: как ни свободен Франциск внутренне, во внешнем деле его, буква Устава иногда сильнее, чем дух свободы.

«Радоваться должны братья всегда», – сказано будет в Уставе: [150] вот уже первая буква Закона в духе Свободы, – первый желтый лист в раю. Люди радуются больше всего, когда еще не знают, что должны радоваться, и когда еще не надо им говорить об этом ни в каком «уставе».

Милостыню собирать и варить овощей нельзя на два дня, потому что сказано: «Хлеб наш насущный подай нам днесь», на сегодня, а не на завтра; двух одежд нельзя иметь, но можно «подшивать одну под другую». [151] «Келья моя», – нельзя сказать, но сам Франциск пишет имена всех братьев на стене Ривортортской хижины, *tugurium*, чтобы каждый брат знал свое место и не занимал чужого. [152] Свой, нужный для ремесла, инструмент может иметь каждый. [153]

Знает ли Франциск, что все это – уже начало собственности?

Телом моим, подо мной, хотя бы и на голой земле, нагретое место – уже свято «мое», – первая точка какой-то возможной будущей Святой Собственности, – не той ли самой, о которой сказано и в заповеди Божьей: «Не укради»? Очень похоже на то, что какая-то злая сила, «черная магия», действительно вошла в собственность, какова она сейчас; но нельзя ли ее оттуда изгнать, – вот вопрос, которого Франциск не слышит вовсе, а ведь все дело его будет под этим вопросом.

#### LVII

Слишком для нас очевидно, что нет, или почти нет у Франциска чувства меры. Лучше бы не разрушал он чужих домов, не выгонял из них больных, не запрещал помогать им деньгами, не заставлял братьев носить денег во рту на кучу навоза. Все это слишком очевидно. Но нельзя возражать на такую безмерность, как у Франциска, нашей человеческой, большей частью, мнимой мерой – действительной умеренностью, а можно – только мерой божественной, – той, что рождается от встречи двух противоположных безмерностей, – Отца и Сына в Духе. Но меру эту знал донине, во всем человечестве, только один человек – Иисус.

#### LVIII

Правило и проповедь – два главных дела Франциска, – внутреннее и внешнее. Если мертвую буквою закона иногда угашается Дух живой в Правиле, то вся проповедь Франциска – огненный дух.

Не вы будете говорить, но Дух (Мт. 10, 20), – слово это на нем исполнилось.

«В день Успения, 1222 года, он проповедывал в Болоньи, на площади Малого Дворца, почти перед всеми гражданами, – вспоминает очевидец. – Проповедь его была, как простая беседа». Он говорил в тот день, о вечном мире, конце всех войн. «Бедны были одежды его, вид незначителен, лицо некрасиво; но Господь давал такую силу словам его, что многих владетельных князей, ливших кровь, как воду, в братоубийственных войнах, привел он к миру и согласию». [154] – «В очень простых и немногих словах выражал он то, что, казалось, невозможно выразить никакими словами», – замечает другой слушатель. «Я запоминаю, почти слово в слово, речи всех проповедников, но не могу запомнить того, что говорит Франциск, – удивляется третий, – и если

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
даже запоминаю, то все кажется мне, что это не те слова, которые я из уст его слышал». [155]

«Надо, уподобляясь Христу, больше делать, нежели учить, или, по крайней мере, делать и учить равно», – говорит он сам. [156]

Если слова его действуют на людей так неотразимо, то потому, что каждое слово его – дело.

Кто сделает и научит, тот великим наречется в царстве небесном (Мт. 5, 19).

Все величие Франциска – в этом.

«С тысячами говорил он, как с одним, и с одним, – как с тысячами... Часто, приготовивши проповедь и выйдя к народу, не мог он вспомнить ни слова и признавался тогда, не смущаясь, что все забыл... молча благословляя слушателей, и это трогало их больше всех слов». [157]

Когда случилось ему однажды проповедывать перед папой Гонорием III и всеми князьями Римской церкви, кардинал Уголино, покровитель Франциска, поставивший всю судьбу свою на карту его, очень боялся за «простоту» Блаженного – как бы не осмеяли его; и больше еще испугался, когда, «увлекаемый речью своей, не мог он, казалось, устоять на месте и двигался весь, почти плясал». Но, видя, что никто и не думает смеяться, понял кардинал, что ему бояться нечего. [158]

## LIX

Первое и последнее слово Франциска к людям – самое огненное слово Духа: Мир.

«Сам Господь открыл мне, что мы (Меньшие Братья) должны говорить всем людям: Мир да подаст вам Господь, расем det vobis Dominus», – скажет св. Франциск в завещании своем. [159]

Собственность – мать Войны; мать Мира – нищета, нагота безоружная. «Мы ничего не хотим иметь, потому что, будь у нас имение, нам нужно было бы оружие, чтоб его защищать». [160]

Не воевать – не убивать, – вот всегда и везде, для всех возможных, первый шаг на пути человечества к царству Божию.

В 1210 году, по настоянию Франциска, был заключен и подписан, с торжественной клятвой, на главной площади города Ассизи, «вечный мир между Большими и Меньшими людьми», *Maiores et Minores*, богатыми и бедными, и братоубийственная война их на несколько лет прекратилась. [161]

Вот несомненное дело Франциска, – то, за что «наречется он великим в царстве Небесном».

## LX

«Брат, ступай в город Ассизи и проповедуй», – сказал однажды Франциск брату Руфино. «Смилуйся, отец! Ты знаешь сам, как я прост и глуп, *simplice et idiota!*» – взмолился тот. «Так как ты меня не послушался тотчас же, то именем святого послушания приказываю тебе: донага раздевшись, ступай, войди в церковь и проповедуй!» – ответил Блаженный. Так и сделал брат Руфино.

«А между тем, видя столь быстрое повиновение его и чувствуя жестокость своего приказанья, начал Франциск себя укорять: „Кто дал тебе право, сын Пьетро Бернардоне, жалкий и презренный человечешко, возлагать такое послушание на брата Руфино, потомка одного из знатнейших ассизских родов? Жив Господь, ты сам на себе испытаешь, что возложил на другого!“

И тотчас же, раздевшись донага, пошел он в город. Когда же люди его увидели, голого, то начали смеяться над ним и поносить его, говоря, что оба они с братом Руфино лишились рассудка от святости. А Франциск, войдя в церковь, взшел на кафедру и начал проповедывать о наготе Распятого». [162]

Что произошло затем, – как и почему только что смеявшиеся, вдруг изменив чувства свои, перешли от смеха к такому «великому плачу, какого никогда еще не было слышано в городе», – трудно понять по легенде. Ясно одно: если бы уже и тогда, как люди смеялись над «безумием» Франциска, не было в них чего-то родственного этому безумию, то не мог бы в них произойти такой внезапный переход и все дело кончилось бы, вероятно, в те дни приблизительно так же, как в наши: оба голых монаха были бы посажены в тюрьму за «преступление против общественной нравственности» и, уж во всяком случае, не было бы допущено такое явное «кошунство», как проповедь голых в церкви. Чтобы нечто подобное оказалось возможным, должно было носиться в самом воздухе тех дней дыхание того же Духа, которым был движим и Франциск. Кажется, нет времени более одетого, исступленно-стыдливого, большим страхом наготы одержимого, чем закутанные в монашеские рясы, закованные в рыцарские латы средние века. Но вот вдруг, в каком-то безумии, бунтуя и освобождаясь из древнего плена, прорывает все одежды нагота.

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoff.org

В те дни (около 1210 года) можно было видеть, как «по городам и селам бегали молча голые женщины», – сообщает один летописец о повальном безумии или о том, что кажется нам «безумием» тех самых дней, когда проповедывал, в ассизской церкви, голый Франциск.[163] Эти бледные немые призраки голых женщин внушают, может быть, людям нечто, подобное тому, что испытывают и ассизские граждане, видя нагого Франциска. Что же это такое? Кажется, ключ к этой загадке – в двух словах легенды: «нагота Распятого».

Наг был человек в раю и только нагим, через второго Адама Распятого, войдет в новый рай – царство Божие: вот о чем, должно быть, проповедует одетым людям нагой Франциск.

Два слова Господня, «не записанных» в Евангелии, *agrapha*, уцелели, – одно – на египетском папирусе II–III века, другое – у св. Климента Александрийского:

Говорят (Иисусу) ученики: когда Ты явишься нам и когда мы увидим Тебя?  
Говорит Иисус: когда обнажитесь и не устыдитесь.[164]  
[165]

Нагим человек рождается; нагим любит в брачной любви, – зачинает, рождается и умирает нагим.

И открылись у них глаза, и узнали они, что наги... И сделал Господь Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их (Быт. 3, 7 – 21).

«Скинь одежды плоти и крови („кожаные одежды“ Адама); обнажись – умри и будь»: жизнь человека – в одежде; бытие – в наготы.

## LXI

Думал ли Данте о наготы Беатриче; думал ли св. Франциск о наготы Прекрасной Дамы, Бедности? Если и не думал, то чувствовал Ее, всю нагую, весь нагой; видел, что вся нагота Ее – красота. Если Франциск и Бедность, по слову Данте, – «любовники», то понятно, почему он любит Ее наготу: высшее для любящего упоение любви – в наготы возлюбленной.

В радужных светах от окон с разноцветными стеклами, в темной тени от готических колонн и стрельчатых арок чудно и страшно белеет голое тело св. Франциска, как пламенеющее тело Серафима Распятого. Глядя на него, плачут люди, рыдают, по слову легенды, «глубоким рыданием», – сами, может быть, не зная, от чего, – от горя или от радости. Плачут, рыдают и звуки органа глубоким рыданием, потрясающим каменное сердце собора, и бурю звуков, бурю плача, уносятся сердца человеческие в будущий рай на земле – царство Божие.

«Ныне же будете со мною в раю», – говорит людям одетым нагой Франциск.

## LXII

Самым умным людям Римской церкви не легко было понять, что ей от Франциска опасаться нечего, потому что он ей навсегда и бесконечно предан.

«Сам Господь внушил мне такую веру в пастырей Святой Римской Церкви... что, если бы они и гнали меня, я все-таки искал бы у них же прибежища... Я буду их всегда бояться... любить и почитать, как моих начальников, потому что, как бы ни были они грешны, я вижу образ Сына Божия только в них».[166] Сколько бы в этом ни уверял Франциск, люди церкви ему не поверят, потому что в самом для него главном, – в воле к нищете – «противособственности», его противоположность им слишком для них очевидна.

Воля к собственности возобладала в Римской церкви над волей к нищете, по роковой исторической необходимости: чтобы спасти Европейский Запад от варварства, не только духовно, но и физически, т. е. в последнем счете, «хозяйственно», «экономически», Церкви нужна была собственность. И дела, по существу, не меняли даже такие святые папы-бессребреники, как современник Франциска Гонорий III и Целестин V; Церковь Петра Нищего оставалась все-таки величайшей в мире собственницей.

Что бы ни разумел Данте – всю ли Римскую церковь или только Римскую курию, – в этом страшном стихе:

там, где каждый день продается Христос,

1[167] слишком очевидно совершалось в Риме дьявольское чудо симонии – купля-продажа Духа Святого; Симоном Волхвом побеждался Петр, «черною магией» собственности побеждалась «белая магия» бедности слишком очевидно, чтобы и Франциск мог этого не видеть и не понять или, по крайней мере, не почувствовать, что Святейший Отец, некогда Наместник Петра Нищего, – такой же ныне собственник, как и его, Франциска, грешный отец, Пьетро Бернардоне, и такой же ему естественный враг.

Люди церкви были очень умны, но умен был и Франциск, умнее, чем они думали. Слишком хорошо, конечно, понимал он, откуда идет их сопротивление,

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
но надеялся преодолеть его, – чудом пройти сквозь него, как сквозь стену, и в этом ошибся: черная магия собственности оказалась сильнее белой магии бедности.

Если первый Устав Меньших братьев (или, вернее, отсутствие Устава – свобода евангельская) сначала не был разрешен, а потом – «потерян» или уничтожен, то потому, что люди церкви считали его слишком трудным, сверх сил человеческих, и тем опасным не только для других, но и для себя самих. Сколько бы ни уверял их Франциск в своей преданности, – этот нищий для них, богатых, этот святой для них, священников, был живым укором, – вечным у них бельмом на глазу.

Умнейшим людям Римской церкви, в те дни, могли сниться дурные сны о Франциске: что, если лысинка тонзуры зарастет на косматой голове «лесного человека», лешего, и большей беды наделает Церкви этот вернейший сын ее, чем все еретики, вместе взятые?

#### LXIII

Как ни велика была над людьми власть Церкви, власть Франциска была еще больше. Люди сливались для Церкви в одно неразличимое стадо, а для Франциска каждый человек был существом отдельным, неповторимым и единственным, и это все люди чувствовали: вот почему и шли к нему в таком множестве. «Братья, погодите, дайте мне подумать, что с вами делать», – принужден он был останавливать людей, когда все население какого-нибудь городка или местечка хотело за ним идти. [168]

Власть же его над Меньшими братьями была еще больше. «Именем святого послушания приказываю», – не успевал он произнести, как все они кидались исполнять его приказание. [169] Слишком понятно, что для Церкви такое послушание не ей, а другому было страшно.

Кто от всего отрекся, тот свободен от всего, неуловим ни для какой власти, мирской или церковной, потому что проходит сквозь нее, как дух – сквозь стену: так свободны Меньшие братья. Слишком понятно, что для Церкви и такая свобода страшна.

Помня слово Господне: «один у вас Отец – на небесах, и один Учитель – Христос», – никого из людей не называл Блаженный ни «отцом» своим, ни «учителем». [170] Если никого, то и папу не называет «Святейшим Отцом»: папа, Глава Церкви, Наместник Христа, равен для него последнему нищему. Слишком понятно, что и такое равенство для Церкви опасно.

#### LXIV

Около 1209 года, «когда император Оттон проезжал мимо Ривотортской обители в Риме, чтобы там венчаться на царство, – Святейший Отец, Pater Sanctissimus (не папа, а Франциск, – имя это дано ему легендой недаром), – Святейший Отец не вышел из хижины, хотя и находившейся у самой дороги, чтобы взглянуть на великолепное шествие, и никому из братьев не велел выходить, кроме одного, который должен был напомнить императору, что его величие мимолетно». [171]

Солнце называют эти «наименьшие» из людей «Государем-Братом» своим, а император для них равен последнему нищему. Бывший «раб рабов Господних», Servus servorum Dei, мнимый нищий, Наместник Петра, мог бы позавидовать такому царственному величию настоящего раба, действительного нищего – св. Франциска. [172]

«Милует он тех, кого и Бог не помиловал», – говорят о нем люди, чего ни о каком папе не сказали бы.

Солнцем, восходившим над Риво-Торто, затмевалось солнце, заходившее в Риме: вместо папы римского Иннокентия III или Григория IX, – папа Ассизский, Франциск I. Как же было Церкви не испугаться и этого?

#### LXV

В 1216 году, при посвящении («великой индульгенции») Портионкулы, прочитана была, вероятно самим Франциском, молитва царя Соломона, при посвящении храма Иерусалимского: «Да познают, Господи, имя Твое все племена и народы земли, в доме сем, который я построил Тебе» (III Цар. 8, 43–44). Это значит если еще не для самого Франциска, то для будущих его учеников: Церковь Вселенская – уже не великая Церковь Петра в Риме, а малая церковка Франциска, в Портионкуле.

«Бог призвал нас (Меньших Братьев)... для спасения всех народов земли», – «не только христиан, но и язычников», – скажет ли это Франциск только в легенде или также в истории, – во всяком случае, здесь что-то легендой верно угадано в том, что произошло или могло бы произойти между Франциском

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoffo.org  
и Церковью.[173]

Когда Блаженный молился однажды перед алтарем в церкви Богоматери Ангелов, простирая руки к небу и вопия к Господу, да помилует Он людей своих в предстоящей великой скорби, Господь сказал ему так: «Если хочешь, Франциск, чтобы Я их помиловал, да будет Мне верным Братство твое до конца, ибо только оно осталось у Меня во всем мире... и с ним последний свет потухнет».[174] Это значит: Римская Церковь для Христа потеряна; остается только Церковь Ассизская – Братство Меньших. Очень вероятно, что таких слов из уст Господних не мог бы услышать Франциск; но, кажется, и здесь что-то верно угадано легендою в том, что произошло между Франциском и Церковью.

LXVI

Некоторые ученые братья, на великом собрании в Портионкуле, так называемом «Капитуле Шатров», где собралось пять тысяч братьев, – подойдя к епископу Остийскому (кардиналу Уголино, наместнику Братства), сказали ему так: «Ваше преподобие, убедите брата Франциска послушаться совета умных и ученых братьев... чтобы он руководствовался уставом св. Бенедикта, св. Августина и св. Бернарда, которые учат братьев жить так-то и так-то. Но, только что кардинал передал эти слова Блаженному, прибавив к ним от себя увещание, – тот молча взял его за руку, повел к собранию всего Капитула (пяти тысяч братьев) и, весь пламенея Духом Святым, воскликнул:

– Братья, братья мои! сам Господь открыл пути свои мне и тем, кто идет за мной... Не говорите же мне ни о каких уставах, – ни св. Бенедикта, ни св. Августина, ни св. Бернарда, и ни о каком пути, кроме этого, открытого мне самим Господом, ибо хочет от меня Господь одного, – чтобы я был величайшим в мире безумцем, и нет мне иного пути, кроме этого... Вас же всех, ученых и умных, да посрамит и покарает Господь! [175]

„Нет иного пути, кроме открытого мне самим Господом“, – это значит: „Я и Христос; между мной и Христом – никого и ничего“. Сызнова все начинается Франциск, как будто никогда никакой Церкви и не было: „Только одно Братство твое, Франциск, и осталось у Меня во всем мире... и с ним последний свет потухнет“. Вот отчего все пять тысяч братьев Капитула, как вспоминает легенда, были „в великом страхе“, и кардинал Уголино тоже; это страх всей Римской, бывшей церкви перед будущей, Вселенской; вот отчего Франциск „весь пламенеет Духом Святым“. „Бывшая Церковь – Сына; будущая Церковь – Духа“, – скажут некогда ученики Франциска, полагая, что сам он – уже не в бывшей, Римской, а в будущей, Вселенской Церкви, и, может быть, Иоахим согласился бы с ними. Но так ли это? Где сам Франциск, – во Втором или в Третьем Завете, в Церкви Сына или в Церкви Духа? Чтобы ответить на этот вопрос, надо измерить степень наибольшего приближения св. Франциска к откровению Духа, в том религиозном опыте его, действительно небывалом и единственном, который можно бы назвать „Благословением твари“.

LXVII

Если только в Третьем Завете, по ту сторону Евангелия, открывается вся полнота этого нового религиозного опыта, то первая исходная точка его дана уже и во Втором Завете, в Евангелии: взгляните на птиц небесных: не сеют они и жнут, ни собирают в житницы... Посмотрите на полевые лилии, как они растут; не трудятся, не прядут... Итак, не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?“ или „что пить?“ или „во что одеться?“

Это значит: „научитесь у животных и растений нищете, нагоде, свободе; не жить, а быть“.

С этой-то первой точки и начинается Франциск „Благословение твари“.

„Сестры мои, Птицы, хвалите Творца и любите Его... Вы не сеете, не жнете, но Бог питает вас“, – так говорил Блаженный, и птицы радовались, слушая его; вытягивали шеи, били крыльями и открывали клювы, глядя на него. Он же ходил между ними, касаясь голов их краями одежды... А потом осенил их крестным знаменем, и они улетели... И с этого дня начал он проповедывать всей твари... и, с каждым днем, убеждался все больше в покорности ее человеку». – «И жалостью к ней... истаивало сердце Блаженного».[176]

Сам Франциск ясно не увидит никогда, умом не поймет, но сердцем, может быть, уже чувствует, что все «Благословение твари» для него начинается с птиц, потому что в чуде полета, в победе над законом тяготения, рабством всех рабств, – птицы являют людям «веще знамение», «символ», *significatio*, как скажет он о «Брате Солнце», – символ Третьего, по Иоахиму, Царства – Свободы.

Кажется, это и легенда смутно чувствует. «Сердцем проникал он в тайны всех тварей, как будто, уже освободившись от плоти... жил в свободе сынов Божиих».[177] Здесь уже вторая точка этого нового религиозного опыта, – в

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
движении Духа от Иисуса к Павлу: знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается донныне... в надежде... что освобождена будет от рабства... в свободу детей Божиих... Мы еще не знаем, о чем молится, как должно; но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 19–26), –

«за нас», – не только за людей, но и за «всю тварь».

«Будет Бог все во всем» (I Кор. 15, 28), – это для него, Франциска, как будто уже исполнилось, – уже сияло в нем через край переливающейся благодатью. [178]

#### LXVIII

Сложенная им незадолго до смерти «Песнь тварей», *Il Cantico delle creature*, – только жалкий лепет по сравнению с тем, что он чувствует, – хочет и не может сказать об этом восстановленном в сердце его, вечном мире между Человеком и Тварью; лучше всех слов выражается это в безмолвных делах Блаженного.

«Чудно было видеть, что и вся неразумная тварь понимала, как он любит ее и жалеет». [179] – «Если слушалась его вся тварь, то это неудивительно, потому что все мы, бывшие с ним, видели, как он не только любит ее... но и почитает... и, находясь в восхищении (экстазе, *raptus*), говорит с нею, как с разумною». [180]

Пойманный зайчик прячется на груди его, как в самом верном убежище, и Франциск «ласкает его с материнскою нежностью»; (потом отпускает на волю, но, вместо того чтоб убежать, зайчик опять вскакивает к нему на руки и прячется у него на груди; и так несколько раз, пока наконец Франциск не велит отнести его в лес, чтобы там отпустить. [181]

Так же подаренная ему рыбаками на Риетском озере водяная птичка не улетает от него, угревшись в сложенных ладонях, как в родном гнезде. «И, подняв к небу глаза, долго молился Блаженный, в восхищении... Когда же наконец, придя в себя, велел птичке вернуться на волю и осенил ее крестным знамением, та, востепенувшись, улетела радостно». [182]

Сидя на фиговом дереве, около самой хижины-кельи Святого в Портионкуле, кузнечик сладко пел. «Брат мой, Кузнечик, поди сюда!» – сказал однажды Блаженный, протянув к нему руку, и тот, спрыгнув тотчас же с дерева, сел к нему на ладонь. «Пой, брат мой, Кузнечик, – хвали Творца!» – велит ему Франциск, и он запел, и Блаженный вместе с ним. [183]

В братстве нашем с кузнечиком мы усомнились, но ведь и Каин усомнился в братстве с Авелем.

«Первый ковач железа», машиностроитель, градостроитель, всей нашей гражданственности, цивилизации, праотец, Каин, убил не только брата своего, Авеля, но и все братство в мире. Каиновым железом отделен человек от человека и от всей твари.

Большее, может быть, безумие сказать о кузнечике: «машина», чем сказать: «брат». Если и он рождается, любит, поет и умирает, так же как мы, то и он – сын той же Матери-Земли, – наш брат.

Мертвый АVELЬ, брат Каина, и живой кузнечик, брат св. Франциска, – два одинаково недоказуемых мифа или мистерии, две одинаковых возможности, и выбор между ними свободен: или «Природа вещей – вещества», *Natura regit*, строительница мертвых машин, или Природа – Мать живых существ. Светится сквозь нее одно из двух возможных лиц, и выбор между ними опять-таки свободен: или стальное лицо Машины, или родное лицо Матери – той Любви, о которой Данте сказал:

Любовь, что движет солнце и другие звезды.

*L'Amor che move il sol e l'altre stelle.*

Если братоубийца и машиностроитель, Каин, прав; если правы те, для кого вся природа – «механика», то рано или поздно схватит человека за горло и задушит человекообразная машина, Автомат. Вот от чего спасает или могло бы спасти нас дело св. Франциска – между человеком и тварью восстановленный мир. [184]

#### LXIX

«Ласкам его улыбалась вся тварь... и воли его покорно слушалась», как воли первого человека, Адама, в раю: что это значит, видно по легенде о слепнувшем Франциске.

Зная, что его уже от слепоты не исцелит никто, соглашается он, по настоянию братьев, на тогдашнее варварское лечение – прижигание висков раскаленным добела железом. Докрасна еще только накалилось оно, на углях жаровни, когда бежали все, оставив его наедине с двумя последними братьями, Огнем и Врачом. Ближе был Франциску в эту минуту брат Огонь, чем брат Человек.

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoffo.org

– Брат мой, Огонь, – сказал Блаженный, осеняя раскаленное добела железо крестным знаменем, – брат мой, Огонь, я всегда любил Тебя за то, что ты из всех творений Божьих самое могучее и прекрасное. Будь же милостив ко мне: тихо жги меня, так, чтобы я мог вынести!

Поднял врач ослепительно белую, как солнце, палочку и, когда, вонзив ее острие в зашипевшее тело, провел им от уха до брови, тихо улыбнулся Блаженный, как дитя – от ласки матери. А когда вернулись в келью бежавшие братья, он, с такою же тихой улыбкой, сказал им: «Труссы! чего вы так испугались? я никакой боли не чувствовал». – «Чудо!» – воскликнул никогда ничего подобного не видевший врач.[185]

Что ж это такое, в самом деле? Только ли «вымысел», «легенда», или какая-то за нею чудесная действительность? Две опять и здесь недоказуемых возможности, два «мифа» или религиозных опыта, и выбор между ними свободен. Первая возможность, внешняя: явление естественное, – то, что мы называем «анестезией», «обесчувствлением», – следствие того, что мы называем «самовнушением», «гипнозом», а люди XIII века называли «восхищением», *gaptus*; вторая возможность, внутренняя: нечто большее, чем то, во что верит Франциск, – то, что он знает, чувствует до «исступления», «бесчувствия», – милость брата Огня к брату Человеку, – между Человеком и Тварью восстановленный мир.

LXX

Кажется, лучше всего могли бы понять этот новый религиозный опыт Франциска два великих «символиста», Данте и Гёте.

Все преходящее

Есть только Символ.

*Alles Verg*

*Ist nur ein Gleichniss*, – скажет Гёте.

«Символ Твой являет – Тебя знаменует, Всевышний... брат наш, Солнце... в блеске своем лучезарном, *di te Altissimo, porta significatione*», – скажет Франциск, для внешнего солнца слепнувший, для внутреннего – прозревающий.

Кажется, это понимает и легенда: «по запечатленным во всем творении, следам Возлюбленного восходил он, как по лестнице» – вещей знамений, символов.[186]

«Братьям не позволял наступать на две случайно скрещенных на земле соломинки или сучка», потому что этот маленький крестик был для него знаменем – символом великого Креста.[187]

нь», по слову Павла (1 Кор. 10, 4). «не позволял рубить в лесу деревьев до корня», потому что всякое дерево – символ того, на котором был распят Сын Божий. Сам не любил гасить никакого огня – ни очагов, ни свечей, ни лампад, ни факелов; не любил и того, чтоб их другие гасили при нем, потому что во всяком свете видел символ того Изначального, что «во тьме светит и тьма не объяла Его».[188]

Так, для Франциска, вся тварь, от Херувима до атома, – одна живая, прозрачная «лестница» Символов; так же как для Данте, весь мир для него – «Божественная Комедия» – «Божественная Игра». Потому-то и называет он себя «игрецом», «скоморохом Божьим», *joculator Dei*. Чтoб в этом понять его, надо помнить того «скомороха», «канатного плясуна» Парижской Богоматери, который ходит на голове, утешая Матерь Скорбящую и весь Ангельский сонм; надо помнить, что радость и легкость Франциска – «перевернутая», «прокинутая», не первая, а последняя, после безмерной скорби и тяжести; радость не жизни, а бытия («умри и будь»), – «потерянной и найденной снова души». Чтoбы в этом понять его не отвлеченно-созерцательно, а жизненно-действенно, надо помнить всегда, что радость эта подобна той вонзившейся в тело его раскаленной добела врачом железной палочке.

LXXI

Кажется, верная, хотя и очень смутная, память о достигнутой Франциском, при восхождении по этой лестнице символов, высшей ступени уцелела в легенде о подаренном ему ягненке, который всюду неотступно ходит за ним и, войдя однажды в церковь Марии Ангелов, во время обедни, при вознесении Даров, преклоняет колена, с благоговейно-трепетным блеянием.[189]

Дело тут, разумеется, не в том, могло ли быть нечто подобное, а в том, что, по этой легенде, идущей, судя по ее глубине, от сердца самого Франциска, участвует свято в святейшем Таинстве, наравне с людьми, животное. От жертвенных, в Иерусалимском храме, заколаемых, агнцев до этого, – в Портионкульской церкви, за которого заклан сам Агнец Божий, Христос, – какое неимоверное движение Духа! Здесь впервые не только человек, но и вся тварь искуплена Голгофскою жертвою. Вот что значит:

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«совокупно стенает и мучится донныне вся тварь... ожидая... усыновления – искупления, ибо сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными» – не только за людей, но и за всю тварь.

Здесь уже, в самом деле, новое, в христианстве, небывалое откровение Духа в Сыне; уже не Второй Завет, а Третий, или, точнее, Третий – во Втором.

LXXII

Но эта высшая и к Духу ближайшая, Франциском достигнутая, точка восхождения по лестнице символов, – последняя; вольно, сознательно-зряче никогда им не переступленный и непереступаемый для него порог. Здесь остановится он и дальше не пойдет. Если б он узнал, что вернейшие, ближайшие, хотя и посмертные, ученики введут его в Третий Завет, в Третье Царство Духа, соединив с Иоахимом, то, вероятно, испугался бы этого, не захотел бы об этом и слышать и от вернейших учеников своих отрекся бы.

«Три состояния мира», *tres status totius saeculi*, по Иоахиму: «первое, земное, – в Отце; второе, водное, – в Сыне; третье, огненное, – в Духе». [190]

Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся! (Лк. 12, 49).

В будущем, в желании Сына, – Огонь, а в настоящем, – в достижении, – все еще Вода:

кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; но вода, которую дам ему, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную.

Кто жаждет, иди ко Мне и пей (Ио. 4, 14; 7, 38).

Весь путь христианства ведет от Сына к Духу – от Воды к Огню, от «водного состояния мира», «крещения Водой», к «состоянию огненному», «крещению Огнем». Тем же путем идет и Франциск; но, можно сказать, что он идет, сам не зная, не видя куда, как слепой: перед смертью, действительно, физически, почти ослеп. И эта слепота внешняя, так же как все в жизни и смерти его, «являет знамение – символ», *porta significatione*, какой-то слепоты и внутренней.

Слепнет Франциск, на пути от Сына к Духу. Всею зрячею волей своей, всем сознанием, всю душою, он – только во Втором Завете, в «состоянии мира водном»; но духом уже не вмещается в нем, – переплескивается невольно, слепо, бессознательно, в «состояние мира огненное», – в Третий Завет. В этом-то неразрешимом для него противоречии души и духа, – вся его трагедия.

Любит огонь; кажется иногда, что поклоняется ему суеверно, как огнепоклонники. Когда, восхищаясь однажды ярким огнем в очаге, слишком приблизился к нему так, что загорелась на нем одежда, то в «восхищении», *gaptus*, не чувствует жара огня, так же как той раскаленной добела врачом железной палочки, и не дает его гасить («нет, брат мой, не обижай брата нашего Огня!»), так что братья должны это сделать насильно. Вынесенным из пожара, «отнятым у брата Огня», плащом никогда уже не хочет покрываться. [191]

Слепо, бессознательно, невольно, любит Огонь, а волею в сознании, в зрении, боится его; и это в нем, как все, – «являемое знамение», символ: между Водой и Огнем – такая для него несоединимость, непримиримость, как между Сыном и Духом; так же боится он Духа, как Вода – Огня.

LXXIII

Есть, конечно, и у Франциска то, что Иоахим называет «тайны постигающим разумом», *mysticus intellectus*, но в мере, не соответственной чувству постигающему тайны. Равновесие между чувством и разумом нарушено в нем, именно здесь, на последней, высшей точке зрячести, близости к Духу, – первой точке слепоты. Глянул «канатный плясун» слишком пристально вниз, – голова у него закружилась и, чтоб не упасть, закрыл глаза, – ослеп.

[192]

Сложен и умен Паскаль; «прост и глуп» Франциск? Нет, не глуп, но так же, как Паскаль, «оглуляет» себя, закрывает глаза от страха, – слепнет. Птичке водяной говорит: «Лети на свободу без страха», а сам не хочет лететь, – боится свободы.

Истину познаете, и истина сделает вас свободными (Ио. 8, 32), – этим словом Господним благословляется знание, как путь к свободе. Грех св. Франциска – страх познания – страх свободы.

«Будьте просты, как голуби», – эту половину Евангелия он понял и принял, как никто; а другую половину: «будьте мудры, как змеи», – отверг; ту он видит, а к этой слеп.



LXXIV

«Сколько человек делает, столько и знает», – можно и по одному этому слову судить, как Франциск умен.[193] Знание без дела – только «надутая гордыней схоластика», по слову Иоахима.[194]

Но ведь и обратное верно: сколько человек знает, столько и делает; дело, без знания, так же мнимо и пусто, как знание без дела. Человек, освобожденный от мнимого знания, – «лев, освобожденный от пут».[195] Но истинное знание для того и нужно, чтобы освободиться от мнимого.

«Я знаю только одно – нищего Христа и распятого; мне больше ничего не нужно».[196] Разве этого мало? разве это не все? Но сколько нужно было знания людям, чтоб до этого дойти!

«Кто из братьев не знает грамоте, тот не должен ей учиться», – сказано в Уставе 1223 года, а в Уставах позднейших еще яснее: «Тем из братьев, кто не умеет читать... самим учиться и другим их учить мы запрещаем».[197] Видя это, глазам не веришь, но ведь не верили глазам и ассизские граждане, видя голого Франциска на улицах города, а потом, – в церкви: это им казалось безумным и страшным, но могло быть и свято.

Нужно было Франциску от всего обнажиться духом так же, как телом, – мнимое знание «надутых гордыней, схоластиков» нужно было убить, чтобы истинное знание родить; все забыть, разучиться всему, чтобы научиться – вспомнить снова.

Да, это могло быть, но могло быть и другое, и действительно было.

«Мы должны почитать всех учителей... слова Господня, дающих нам жизнь», – это Франциск знает умом, но сердцем знает другое: «выброшены будут в день Страшного Суда все книги в окна и в отхожие места».[198] Послушнику, просящему у него позволения иметь псалтырь, посылает он голову пеплом, повторяя: «Вот твой псалтырь! вот твой псалтырь!»[199] А ученого брата, основавшего богословскую школу в Болонье, проклинает за то, что он будто бы «хочет разрушить все Братство»; когда же тот, умирая, молит о прощении, – отказывает безжалостно: «Нет, проклят, проклят да будет самим Господом!»[200] Пусть это только легенда, – можно судить и по ней, куда пойдет Братство; куда его толкнул или от чего не уберег основатель.

Нет никакого сомнения, что св. Франциск – один из великих отцов нового искусства и нового знания. Дело его – «Благословение твари», «естества», продолжается до наших дней в том, что мы называем «естествознанием». Раймунд Лулльский, «отец электричества», Рожер Бэкон, «отец оптики» (оба – Меньшие братья), в науках, так же как в поэзии, Данте, и в живописи, Джотто, идут от св. Франциска.

Очень много сделал он, но все-таки безмерно меньше того, что мог бы сделать.

Вся наша грешная плоть могла бы освятиться этим мнимым врагом плоти, св. Франциском; но вот не осветилась, потому что он сам не знал, не видел, что делает; к истине шел, как слепой.

LXXV

Между исторически действительным и тем, каким изображает его легенда, разница может быть слишком велика, чтобы исторически действительный был во всем ответственен за изображенного, но кое в чем тот отвечает за этого. Видно уже и по легенде, как великое дело Франциска, Благословение твари, искажается и умаляется «самоослеплением» – «самооглушением».

Встретив однажды, на дороге, человека, несшего за спиной двух связанных и жалобно блеявших ягнят, «Блаженный приласкал их, как нежная мать ласкает плачущего ребенка», и, узнав от владельца, что он несет их на ярмарку, чтобы продать на убой, выкупил их за новый, только что подаренный плащ. Но, получив ягнят и не зная, что с ними делать, отдал их тотчас же обратно владельцу, с тем чтобы тот не делал им никакого зла, а сохранил и выкормил.[201]

Кажется, и умному ребенку понятно, что от жалости Франциска никакой пользы ягням не будет: так же владелец отнесет их на ярмарку и так же продаст на убой. Это, конечно, знает и легенда; будут знать и все ее читатели, умиляясь и любясь умилением своим безответственно-эстетически: «Ах, как красиво!» Слишком очевидно, что ничто подобное невозможно в Евангелии, ни, вероятно, в настоящей жизни настоящего Франциска.

То же «самооглушение» – в легенде о договоре Блаженного с волком из Губбио. – «Брат мой, Волк, я хочу заключить мир между тобой и людьми... Люди будут тебя кормить, а ты не будешь им делать зла». Волк радостно машет хвостом, наклоняет в знак согласия голову и кладет переднюю лапу в руку Блаженного; потом идет за ним, «кроткий, как овца», в город, где люди

Франциск Ассизский д.с. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
обещают кормить брата Волка и действительно кормят до самой смерти. [202]  
Но что же делать людям со всеми остальными хищными зверями? Тоже кормить?

Братья! не будьте дети умом; на злое будьте младенцы, а по уму будьте взрослыми (I кор. 14, 20).

Помнит ли это всегда Франциск, не только изображенный в легенде, но и действительный?

Слово «Вифлеем» произносил он голосом блеющей овцы. [203] Надо сказать правду: во многих легендах о св. Франциске слышится «овечье блеяние» и «чувствуется овечий запах». «Люди-овцы» – это, может быть, так же страшно, как «люди-волки». Нет, пастух овец не должен быть овцой, – чтоб не радовался волк.

Хуже всего и здесь, что, кажется, сама легенда уже не очень верит себе; не верят, может быть, и читатели, восхищаясь ею художественно-безответственно.

Страшную оборотную сторону этой медали, – выгодного волкам милосердия овечьего, – показывает легенда о слабоумном или юродствующем брате Джинепро, одном из любимых будто бы учеников Франциска. Чтобы накормить большого брата, которому захотелось жареной свинины, Джинепро с большим кухонным ножом бежит в поле, где пасутся свиньи, и отрезает окорок от живого борова, что, пожалуй, и не всякий бы людоед сделал. Вот уже не христианская, а каннибальская «нагота», «нищета» духовная. [204]

Но даже и в прелести лучших из этих легенд – «Цветочков св. Франциска», Fioretti, чувствуется иногда уже почти упадочная тонкость и хрупкость (та же, что у Ботичелли и Вероккио) свежего еще, но уже на стебле надломленном обреченного цветка. Люди XIX века, одного из самых безответственно-эстетических веков, сделают из этих легенд драгоценность музейную: «Ах, как красиво!» Большого уважения достоин не только великий Святой, но и просто живой человек. Если бы тем, кто сейчас умиляется над ним безответственно, было доказано, что дело его – рай нищих – может наступить, то они отшатнулись бы от него, как от страшилища.

LXXVI

«Должно удовлетворять умеренно все потребности нашего тела, чтобы оно не воздвигло на нас бурю уныния», – советует Франциск другим; [205] но сам этого не делает: «мучает и казнит жестоко невинное тело свое». – «Только в этом одном было у него противоречие между словом и делом», – замечает один из его учеников. [206] Нет, не только в этом: противоречие, противоборство в нем души и тела, – вывод из более глубокого и проникающего во всю его жизнь противоборства – противоречия души и духа, в нем самом, – Духа и Сына в Боге. Этого главного источника всех мук своих он никогда не увидит.

Тело свое предает дьяволу: «Именем Всевышнего, говорю вам, бесы: делайте все, что вам позволено, с телом моим... потому что нет у меня злейшего врага», – так думает он всю жизнь и только перед смертью поймет или начнет понимать, что это, может быть, не так. [207]

«Не было ли тебе всю жизнь верным другом тело твое? Как мог бы без него послужить Христу?.. За что же ты его казнишь?.. Это тяжкий грех перед Богом», – говорит ему один из братьев, [208] и, соглашаясь с ним, кается Франциск, что «много, перед братом Телом своим согрешил, multum pecasse in fratrem corpus». [209] – «И весело начал говорить Блаженный: „Радуйся, брат мой, тело мое, отныне буду я исполнять все желания твои“. [210] Но поздно; телу его уже ничего не нужно: оно почти умерло – убито братом своим духом.

Тот, кто это вспоминает, не видит, какая под этим трагедия, может быть, не только св. Франциска, но и всех святых, – всей христианской святости.

В этом противоборстве души и тела, если довести его до конца, – та же и у Франциска, как у Августина, „манихейская двойственность“. Оба они, вопреки всей своей бесконечной противоположности, одинаково распяты: на кресте мысли – Августин; на кресте чувства – Франциск. В темном лабиринте чувства так же противоречит себе, путается Франциск, как в светлом лабиринте мысли, – Августин. Чувство слепое или само себя ослепляющее, – грех св. Августина, а грех св. Франциска – слепая или сама себя ослепляющая мысль.

То же противоречие и в „Песне тварей“:

Слава Тебе, Господи, за сестру нашу Смерть... ее же никто живой не избегнет! [211]

Смертью смерть победил Христос. „Враг последний истребится, – Смерть“ (Откр. 20, 10), потому что царство смерти есть царство дьявола, – ад. Смерти сказать: „Сестра“, – люди так же не могут, как сказать дьяволу: „Брат“.

LXXVII

„Бегал он от женщин не потому, что остерегался их сам... или хотел остеречь других, примером своим, а потому, что чувствовал к ним отвращение“. Этому свидетельству легенды трудно поверить до конца: слишком противоречат ему другие свидетельства об искушении Святого женскою прелестью.[212] Но, судя по тому, что он говорит о женщинах и как с ними поступает, он действительно чувствует к ним страх нездешний. Глаз не подымает ни на одну из них и знает в лицо только двух – св. Клару, ученицу свою, основательницу Второго Братства, Нищих сестер, и другую сестру того же Братства. – „Сам Господь избавил нас от жен, – говаривал. – Как знать, не посылает ли нам сам дьявол сестер?“ Бедная Клара! Что бы почувствовала она, если бы услышала это „лютое“ слово Франциска.

„Брату, посетившему женскую обитель из сострадания (должно быть, к больной сестре) и не знавшему, что это запрещено в Уставе, велит Блаженный пройти голому несколько верст по снегу, в лютую, зимнюю стужу“.[213]

Так же как прокаженных называет он „христианами“, чтобы не поминать их страшной и гнусной болезни, – называет и св. Клару „христианкою“, как будто быть женщиной – значит быть „прокаженным“.[214]

„Слава Тебе, Господи, за сестру нашу Клару, прекраснейшее из всех созданий Твоих!“ – это сказать, в „Песне тварей“, язык у него не повернулся бы. Смерть называет „Сестрой“, но не Клару.

LXXVIII

„Отцеубийца“, – сказать св. Франциску могли только двое: дьявол и проклявший сына отец. Но Бог недаром беседует с дьяволом:

был день, когда пришли сыны Божии (Ангелы) предстать пред Господа;

с ними же пришел и Сатана... И сказал Господь Сатане: знаешь ли ты раба Моего Иова? (Иов. 1, 6–8), – „знаешь ли ты раба Моего Франциска?“

Дьявол не мог бы искушать „сынов Божиих“, Святых, если бы не было искры божественной правды и в дьявольской лжи. Этой-то, может быть, искрою и обжигается сердце св. Франциска, когда отец, проклиная сына, говорит ему: „Отцеубийца“.

Хуже, чем убивает, – уничтожает отца Франциска легенда, сама не зная и не видя, что делает, так же как этого не знает, не видит и он. Только что от отца отречется, как тот исчезнет с лица земли, испепелится, как плевел огнем, – уничтожится: больше не будет о нем, во всей легенде, ни слуху ни духу.

Как это ни страшно и ни удивительно, но отчасти понятно: между отцом и сыном борьба за вечную жизнь или вечную смерть. Но еще страшнее, удивительнее и уже совсем непонятно, что и с матерью Франциска могло произойти нечто подобное. Между сыном и матерью никакой борьбы. В сыне своем, тогда еще грешном, угадывает будущего великого Святого первая из людей, монна Пика Простейшая (та же у нее простота, нищета духовная, как у св. Франциска): „сын мой будет сыном Божиим!“ Мать ничего не сделала ему, кроме добра. Но вот и ее постигает, в легенде, та же участь, как отца Франциска: хуже, чем убийство, – уничтожение. Только что выходит Франциск из темницы, куда посадил его отец и откуда выпустила мать, – она исчезает с лица земли, так же как отец; больше и о ней ни слуху ни духу во всей легенде. Сын все-таки помнит отца: „самое тяжкое, что пришлось мне вынести в жизни, – это“, – уход от отца, а мать забывает совсем. Землю-Мать помнит, в „Песне тварей“: слава Тебе, Господи, за Мать нашу, Землю, которая носит нас всех и питает, – а родную мать забыл.[215]

Вся плоть мира, в какой-то одной точке, и для св. Франциска, так же как для св. Августина, – „из ничего почти ничто“, *de nulla re rene nullam reme*, „есть, как бы не есть“, *est non est*. В этом они одинаково, вопреки всей своей противоположности, – „люди лунного света“.[216]

Тело дают человеку отец и мать. Кто восстает на тело свое, – восстает на отца и мать; кто его убивает, – убивает их. „Самоубийца – отцеубийца“, – не эту ли искрой божественной правды в дьявольской лжи и обожжется сердце св. Франциска?

LXXIX

Зимнею ночью, в такую же, может быть, лютую стужу, как та, в какую должен был пройти несколько верст, голый, по снегу, провинившийся брат, – молился однажды Франциск, в келье своей, когда дьявол позвал его трижды: „Франциск! Франциск! Франциск!“ – „что тебе?“ – спросил Блаженный, и дьявол ответил ему: „Знай, Франциск: Бог прощает всякого грешника, если он только покается; но нет ни покаяния, ни прощения самоубийце!“ Так сказал ему

дьявол и тотчас же после того разжег в нем лютую похоть. Вместо наготы Прекрасной Дамы, Бедности, явилась ему другая нагота, – чья? – святой ли Клары или одной из тех женщин, чьи ласки он мог бы купить, когда жил еще „в огне греха“?

Скинул одежду Франциск, – обнажился, но уже совсем не так, как тогда, в Палате Суда, или потом, идучи в Ассизи на проповедь; поясом-веревкой начал себя бичевать по голому телу, приговаривая: „Вот тебе, вот тебе, брат мой, Осел! Я буду тебя бичевать, пока не перестанешь упрямитесь!“

Тело свое называет он „братом Ослом“, но в этом ошибается, как некогда сам поймет, хотя и поздно: „Брат мой, тело, прости меня... я много пред тобой согрешил!“ Тело человеческое – самое божественное из всех созданий Творца. В эту минуту и тело Франциска – вовсе не глупый „Осел“, а мудрый Змий, падший Ангел, некогда светлейший из Херувимов. Кто же сделал Ангела дьяволом, как не сам Франциск, когда предал тело свое дьяволу? „Самоубийца“, – „отцеубийца“, – обожгла, может быть, сердце его, в ту же минуту, искра божественной правды в дьявольской лжи.

Падает удар за ударом, но похоть от них только лютееет. В тело, облитое кровью, впивается жало бича, как жало поцелуев, – чем больше, тем слаще. И дьявол торжествует над Святым.

Кинулся он в двери и выбежал в сад, как человек, за которым гонится враг по пятам.

LXXX

Юный послушник (может быть, стоя на молитве, боролся и он с дьяволом похоти) глянул в окно и, хотя в саду, от яркой луны на белом снегу, было светло, почти как днем, – сразу не понял того, что увидел: прыгал, плясал, как канатный плясун, в снежном сугробе или валялся в нем голый человек, и на теле его, голубом от луны, были черные полосы. „Дьявол!“ – подумал послушник, и вдруг узнал Блаженного, и понял, что черные на теле полосы – кровавые. Волосы на голове его встали дыбом от ужаса; хотел бежать, но

Снегу набирая в пригоршни, что-то бормоча и как будто тихонько смеясь, начал он лепить снежные куклы мужские и женские. Вылепив их семь, заговорил с ними, как с живыми. Что говорил, послушник слышать не мог сквозь окно. Этого никто не знает, но угаданные легендой слова Франциска так на него похожи, что кажутся подлинны.

„Видишь, Франциск: эта большая, средняя, – жена твоя; эти четыре поменьше – два сынка твои и две дочки, а те две, позади, – слуга и служанка. Видишь, как им, бедненьким, холодно? Надо их поскорее одеть... Если же скучно и тошно тебе от стольких забот, – уйди от них, забудь их и радуйся, что служишь одному Господу!“ [217]

Кто эта большая, голая, жена Франциска, – потаскушка ли ночных пиров его, одна из тех, чьи ласки он мог бы купить, или св. Клара?

Так победил Франциск искушение дьявола, или думает только, что победил. Знает волю Отца: „будут два одною плотью“; знает и волю Сына: „есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами, ради Царства Небесного“, а как две эти воли соединить, не знает, и то искушение, похоть, – детская только игра, перед этим: этого не победить никогда. [218]

LXXXI

„О, простенький, глупенький! куда ты идешь? O, simplice, quo vadis?“ – говаривал папа Гонорий III о св. Франциске. [219] Если бы тот услышал это, то не обиделся бы вовсе, потому что и сам говорил о себе почти то же: „Хочет от меня Господь одного, – чтобы я был величайшим в мире безумцем“.

В 1212 году, в дни св. Франциска, был „Крестовый поход детей“. Тысячные толпы мальчиков и девочек, точно вдруг сходящих с ума, шли с севера Европы на юг, и ничто не могло их остановить; по морю, как по суше, думали пройти, чтоб освободить Святую Землю от ига неверных, а другие и этого не думали и, когда их спрашивали, куда и зачем они идут, – отвечали: „Не знаем!“ Большая часть их погибла. [220] Так же и дети св. Франциска не знают, куда идут. Если бы знал он сам, то, может быть, христианское человечество не было бы там, где оно сейчас.

LXXXII

„Внутренняя музыка, звучавшая в сердце его, изливалась иногда и наружу... Видели мы своими глазами, как, подняв с земли дощечку, клал он ее себе на левую руку и, взяв палочку или прут, согнутый ниткою, в правую руку, водил им по дощечке, как смычком, делая такие же точно движения, как играющий на скрипке, и пел при этом, часто на французском языке, хвалу Иисусу“. Так же,

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
вероятно, как Павел, бывал Франциск в такие минуты „восхищен до третьего неба, где слышал глаголы неизреченные, которые человеку нельзя пересказать“ (II Кор. 12, 2-3).

Эта немая музыка св. Франциска больше всех на земле слышимых звуков и слов. Не было бы, может быть, без нее ни „Божественной Комедии“ Данте, ни Девятой симфонии Бетховена.

Но это „восхищение“ кончалось всегда слезами.[221] Плакать должно быть, о том, что не мог сказать ни людям, ни Богу. о самой главной радости своей, – свободе в Духе.

#### LXXXIII

„О, если бы знали братья обо мне все, – как бы они пожалели меня!“ – скажет он, умирая.[222] Но не знали тогда, – не знают и теперь.

Если верить легенде, св. Франциск по земле не прошел, а пролетел, как Серафим, хотя и распятый; но за что распят и кем, мы не узнаем и креста не видим: он заслонен от нас серафимскими крыльями. Если верить легенде, то Франциск и на раскаленных углях, как на розах покоится, а в действительности, может быть, и на розах, как на раскаленных углях.[223]

Начал Франциск величайшей в мире свободой, а кончил послушанием трупным. „Всякий иннок да будет настоятелю послушен, как труп, *perinde ac cadaver*“, – первый скажет – не св. Игнатий Лойола, а св. Франциск. Слишком очевидно, что между таким началом и таким концом должно было что-то произойти, в жизни Франциска, что скрыто легендой. Это-то именно скрытое и есть, кажется, то, что произошло между Франциском и Церковью.

„Как бы ни были грешны служители Церкви, я вижу образ Сына Божия только в них“, – это он чувствует всегда, и чувство это, вероятно, не изменилось бы в нем, если бы он услышал тот приговор, который произносит Данте устами апостола Петра, может быть, не только над папой Бонифацием VIII: место мое, место мое, место мое, на земле, похитил он, пред лицом Сына Божия; сделал могилу мою помойною ямой крови и грязи, где радуется Сатана.[224]

Видит, конечно, и Франциск, не хуже Данте, эту „помойную яму“, но лучше помнит слово Господне о Церкви: „Врата адовы не одолеют ее“; знает, что никакое зло человеческое к божественному существу Церкви прикоснуться не может: ризы Невесты Христовой остаются и в „грязи, и в крови“, незапятнанно белыми.

Знает, конечно, и Франциск, не хуже Данте, что значит: „там, где каждый день продается Христос“; но знает и то, что Христос продается, каждый день, во всем мире. „Римская Церковь – Великая Блудница, *meretrix magna*“, – скажут ученики Франциска, предвосхищая Лютера.[225] „В Риме уже родился Антихрист“, – шептал Иоахим на ухо Ричарду Львиному Сердцу, Лютера предвосхищая тоже.[226] Но знает Франциск, что не в Риме, а в мире, – в каждом человеческом сердце рождается Антихрист.

Нет, вовсе не в порядке зла или добра человеческого находится то, что произошло между Франциском и Римской Церковью. Будь она, если это возможно, святое в тысячу раз, это не изменило бы дела по существу: все равно в Церкви не вошел бы Франциск весь, потому что главное в нем – то, что мы называем недостаточным словом: „социальная проблема“ и что можно бы назвать „Коммунизмом Божественным“ или „Третьим Умножением хлебов“ (первое и второе, – уже в Евангелии; третье, – „по ту сторону Евангелия“), – это, во Франциске, для него и для нас главное могло бы вместиться не в Римскую церковь, а только во Вселенскую, – не во Второе Царство Сына, а только в Третье Царство Духа.

#### LXXXIV

Если назначение Римской церкви, Камня Петрова, – стоять неподвижно, быть в равновесии, в статике, то назначение святых – быть в динамике, – равновесие нарушать, двигать: вот почему между святыми и Церковью кажущаяся вечная борьба, – действительное, вечное согласие. Между св. Франциском и Римской церковью тоже.

В тяжбе этой оба невинны, святые оба, Франциск и Церковь. Но происходит все-таки ужасное, – то самое, о чем скажет Франциск, умирая: „О, если бы знали братья обо мне все, – как пожалели бы они меня!“ *Pater Seraphicus*, Отец Серафимский, великий Святой, Франциск, будет Святою Римскою Церковью распят.

„О, простенький – глупенький! куда ты идешь? *O, simplice, quo vadis?*“ – на этот вопрос папы, наместника Петра, мог бы ответить Франциск так же, как Господь отвечает Петру:

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoffo.org  
иду в Рим, чтобы снова распяться,  
vado Romam iterum crucifigi.

LXXXV

Папскими наместниками Братства Меньших уничтожены, в 1222 году, через тринадцать лет по основании Братства, слова Господни, бывшие в первом Уставе 1209 года:

Ничего не берите с собою в дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра (Лк. 9, 3).[227]

„Братья-наместники думают Господа и меня обмануть“, – скажет об этом Франциск.[228]

В тело Серафима распинаемого это первый гвоздь, а вот и второй. В 1230 году, буллой папы Григория IX, бывшего наместника Братства, Quo elongati, – все „Завещание“ св. Франциска зачеркнуто, – уничтожено дело всей жизни его; как бы на вопрос его: „Можно ли жить по Евангелию?“ Римская Церковь ответила: „Нельзя“.[229]

Так будет после смерти Франциска; так же почти было и при жизни его. И пусть даже мысль противопоставить Церкви Евангелие никогда ему не приходила на ум, – мог ли, в сердце его, не шевельнуться вопрос: „Всегда ли учение Церкви совпадает с Евангелием?“

Ста лет не пройдет по смерти Франциска, как буллой папы Иоанна XXII, около 1318 года, сказано будет о ближайших и вернейших учениках Святого: „Две Церкви воображают они: плотскую.. поработленную богатствам, церковью римских пап, и свою, духовную, будто бы свободную, в бедности“.[230] Кажется, нельзя точнее выразить все учение Иоахима о двух Церквях, – Римской и Вселенской. В духе того же учения изобразит Данте, в первой Песне „Ада“, поединок Римской „Волчицы“, Lupa, с „Гончею“ Духа, Veltro (имя это, может быть, криптограмма-тайнопись „Вечного Евангелия“: v-avg-EL. e – T – c – R – n – o = VELTRO).[231]

„Третьего завета Предтеча – Иоахим, а Мессия – Франциск; Братство Меньших будет Вселенскою Церковью“, – скажет, в 1254 году, четверть века спустя по смерти Франциска, опять один из его вернейших учеников.[232] „Римскою церковью воздвигнуто ныне такое же точно гонение на Меньших Братьев, как некогда Синагогой Иудейской – на учеников Христа; когда же гонение достигнет крайней степени, то Римская Церковь рухнет“, – скажет через полвека по смерти Франциска другой из учеников его вернейших.[233] Если бы узнал об этом учитель, то воскликнул бы, вероятно, с ужасом не меньшим, чем Иоахим: „Да не будет, да не будет, да не будет сего! Absit, absit, absit hoc!“[234]

Но так же мог бы ужаснуться Франциск и от слов Господних: „Только одно Братство твое осталось у Меня во всем мире, и с ним последний свет потухнет!“[235]

„Церковь освободится от римского ига, Ecclesia liberabitur a iugo servitutis illius“, – сказано будет на Иоахимовой родине, в Калабрии, два века после Иоахима, полтора века после Франциска и за четверть века до Лютера.[236] Это и значит, по Иоахиму: только Церковь „освобожденная“, в Третьем Царстве Свободы, будет Церковью Вселенской – не Двух, – Отца и Сына, а Трех, – Отца, Сына и Духа.

LXXXVI

Это уже не „Преобразование“ – „Реформация“, а „Переворот“ – „Революция“. Иоахим начал ее; продолжал, сам того не зная и не желая, Франциск. Это нечто бесконечно большее, чем Реформация, и более для Римской Церкви опасное, потому что не рушащее ее извне, а взрывающее изнутри; это пожар от того огня, о котором сказано: огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся! (Лк. 12, 49).

Люди погасили этот пожар. Надо ли было гасить? Нет, не надо. И уж во всяком случае, не надо было это делать так, как сделали. „Я столько же думаю о Третьем Царстве Духа, сколько о пятом колесе в телеге, quantum de quinta rota plaustris“, – скажет один из учеников св. Франциска, через двадцать лет по смерти учителя.[237] Если в наши дни телега человечества так страшно увязла в крови и грязи, то, может быть, потому, что и для нас все еще „пятое колесо“ в этой телеге, – Дух.

LXXXVII

„Кажется, мы, дети Франциска, пропитаны до мозга костей духом отделения“

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
(от Римской церкви), – признается, в наши дни, один историк Братства, сам – дитя Франциска.[238] Меньше хотеть отделиться от Церкви, больше подавлять „дух отделения в себе и в других“, чем это делает Франциск, – кажется, нельзя. „Сам Господь внушил мне такую веру в пастырей Святейшей Римской Церкви, что, если бы они и гнали меня, я все-таки пошел бы к ним“. Но если бы не его гнали, а Того, с кем он, – пошел ли бы к ним все-таки? И что значит: „рушащийся дом Мой обновлю, Франциск“? Кем и отчего рушится дом Божий? На эти вопросы не отвечает Франциск, а может быть, и не слышит их вовсе. Чтобы не видеть слишком страшного и очевидного „там, где каждый день продается Христос“ (пусть и везде продается, но там, в Церкви, это страшнее, чем где-либо), – чтобы этого не видеть, он и ослепляет себя – „оглуляет“.

Мог ли бы понять Франциск, почему назван Павел „возмутителем всесветным“ (д. А. 17, 6) и почему сам Иисус распят за то, что „возмущал народ“ (Лк. 23, 5)? Очень вероятно, что если бы и мог, то не захотел бы; чтобы не видеть и этого, ослепил бы себя – „оглушил“.

#### LXXXVIII

Самая черная точка этого ослепления – в жизни Франциска загадка темнейшая – передача им власти над Братством отъявленному плуту и негодяю, брату Илье Кортонскому.

„Именем святого послушания приказываю, per lo merito della santa ubbidienza“, [239] – вот, кажется, магическое слово, которым свяжет Франциска, по рукам и ногам, чтобы отдать его в руки ставленнику своему, брату Илье, папский викарий, верховный наместник Братства, кардинал Уголино, будущий папа Григорий IX, один из умнейших и благороднейших людей Римской церкви, искреннейший друг св. Франциска и сам почти святой. Как же это могло случиться, – вот загадка.

Кто такой брат Илье? Великий „приобретатель-собственник“, великий „делец“, „спекулянт“, по-нашему, „вор“, по-тогдашнему. Первый увидел он в братстве Нищих выгоднейшее „торговое дело“ и начал его, вероятно, еще при жизни Франциска, а кончит уже по смерти его, когда на собранные – краденые деньги от постройки великолепной Ассизской базилики, богатейшей могилы Прекрасной Дамы, Бедности, и возлюбленного ее, св. Франциска, заживет как владетельный князь, в богатстве и роскоши. Когда же, отлученный от Церкви, заключит против нее союз с императором Фридрихом, „апокалипсическим Зверем“, как назовет его папа Григорий IX, тот самый кардинал Уголино, что поставил брата Илью папским наместником в Братстве, то не будет уже никакого сомнения, что брат Илье продал душу дьяволу.[240]

Как бы воплощенный дьяволом смех над св. Франциском – дьявола с „игрецом Божьим“ игра; как бы исполнившееся над сыном проклятье отца, – вот что такое брат Илье в жизни Франциска. Сын восстал на отца, честного „собственника“, Пьетро Бернардоне и покорился плуту; честного отца возненавидел и вора возлюбил. „Матерью“ своей называл Блаженный брата Илье», – вспоминает легенда.[241]

Что же все это значит? Чем такого Святого очаровал такой негодяй? Кажется, ключ и к этой загадке в жизни Франциска – все в том же его глубочайшем признании: «О, если бы люди знали обо мне все, как бы они пожалели меня». Больше, чем за то, что происходит между ним и Церковью, пожалели бы его, может быть, за то, что происходит в нем самом.

Самое в нем жалкое и неизвестное людям знал только один человек, – брат Илье. Кто кого знает, тот тем и владеет. Вот почему Франциском владел, как никто, брат Илье. Кажется, есть на это глухой намек и в легенде.

#### LXXXIX

Брату Пачифико было видение: восхищенный в небо, подобно апостолу Павлу, – «в теле или вне тела, Бог знает» (II Кор. 12, 3), – увидел он там, среди многих престолов лучезарных и высоких, но пустых, один выше и лучезарнее всех, игравший всеми цветами радуги, как «Утренняя Звезда, Денница» (это, по той же легенде, звезда и самого Франциска). «Что это за престол и кому он предназначен?» – спрашивал он себя с удивлением великим. И был ему Глас: «Это опустевший престол Люцифера, на него же воссядет Франциск!» – «Что ты о себе думаешь, Франциск, – кто ты такой?» – спрашивает, после этого видения, брат Пачифико. – «кто я такой?» – отвечает Блаженный. – Грешник величайший в мире, потому что и последний злодей был бы лучше моего, если бы Господь помиловал его, как милует меня!» Это не «смирение», а такая же для него простая и несомненная истина, как то, что он – человек. Но этого простого ответа не понял брат Пачифико, так же как не поймет его и не поверит ему никто.

«Знай, по этому ответу Франциска, что бывшее тебе видение истинно, ибо вознесен будет смиренный Франциск на престол, с которого низвержен был Люцифер за гордыню!» – слышит брат Пачифико тот же «Глас с неба», а может быть, и не с неба, и верит ему.[242] Судя, однако, по тому, что он Франциску о своем видении не говорит, – должно быть, чувствует, что оно может его и не порадовать. Кто в самом деле, даже из грешных людей, кроме самых глупых или сошедших с ума от гордыни, согласился бы воссесть на «престол Люцифера»? Но если так для грешных, то для Святых тем более, а для смиреннейшего из Святых, Франциска, – больше всех. Самое жалкое и страшное, что могло бы с ним произойти, – это вечный, в славе, позор, в самом небе ад; «вознесение на престол Люцифера».

Думал ли он когда-нибудь об этом? Кажется, думал.

XC

«Почему ты? почему ты (избранник Божий)?.. Ты некрасив, неучен и незнатен; почему же к тебе идет весь мир?» – спрашивал однажды Франциска брат Массео, красивый, ученый и знатный.

«Хочешь знать почему? – ответил Блаженный. – Зорки очи Божии: увидели, что нет на земле твари слабее, подлее, гнуснее, презреннее меня; вот почему и возвысил меня Господь, да посрамит всех великих земли!»[243]

Чудно и страшно уже возвысил, и продолжает возвышать, и до чего возвысит, – неизвестно. – «Буду велик, – больше Карла, Александра и Цезаря, – больше всех людей на земле!» – мог бы он вспомнить, как хвалился друзьям своим, подвыпивши, когда был еще «скоморохом», «игрецом», не Божьим. А если бы вспомнил и безумное пророчество монны Пики Простейшей: «Сыном Божьим будет мой сын!» – то это благословение матери ужаснуло бы его, может быть, больше, чем проклятье отца.

Очень вероятно, что Франциск испытывал иногда, в порядке духовном, нечто подобное тому, что в порядке физическом Святые называют «подыманием», levitatio, и что многие люди испытывают, летая во сне, – странно легкую, чудесную и в то же время естественную победу над притяжением земли. Но наяву такие полеты могут быть и очень страшны, как в головокружении перед обмороком, когда человек, теряя равновесие, не знает, куда летит, вверх или вниз, в небо или в преисподнюю. Судорожно, в такие минуты, цепляется Франциск за землю, прилипает к земле как червь, чтобы не быть «вознесенным на престол Люцифера».

Может быть, в одну из таких минут велит он братьям, «именем святого послушания», влачить себя, голого, с веревкой на шее, как злодея, на городскую площадь. – «Думаете, что я святой? – говорит народу. – Нет, величайший из грешников!» И кается в мнимом грехе, – в том, что ел мясо, потому что о грехе настоящем, возможном или невозможном, не смеет сказать ни людям, ни себе, ни Богу. Но никто не понимает его, не верит ему; плачут все и рыдают, бия себя в грудь: «Если уж такой Святой так унижает себя, что же делать нам, грешным?» И опять возносят его благоговейно-безжалостно на «престол Люцифера».[244]

«Столько сделал зла, что будешь в аду!» – хочет сказать Блаженному один из братьев, по его приказанию, но говорит: «Столько сделал добра, что будешь в раю!»[245] «Грешен, грешен, грешен», – повторяет Франциск ненасытимо, а люди отвечают ему, как беспощадное эхо: «Свят, свят, свят».

ХСИ

Первенцу своему возлюбленному, брату Бернардо, приказывает он, тоже «именем святого послушания»: «Я лягу наземь, а ты перейди через меня трижды, каждый раз наступая мне одной ногой на горло, а другой – на рот, и говори мне так: вот чего ты достоин, сын Пьетро Бернардоне, смерд!» и еще говори: «Откуда гордыня твоя, презренная тварь?» Это будто бы наказание за какой-то опять пустой и мнимый грех, а в действительности, может быть, жажда презрения неутолимая.

И, не смея ослушаться воли Блаженного, с ужасом топчет брат Бернардо, человек, Серафима Распятого.[246]

Ходит «канатный плясун», «скоморох Божий», вниз головой по веревке, протянутой между двумя безднами, – гордыней Люцифера и смирением Серафима; кружится у него голова, и судорожно цепляется он руками за веревку – едва уже действующее на него притяжение земли, чтоб не сорваться и не упасть в страшную глубину или не вознестись в вышину еще более страшную.

Как пал ты с неба, Денница, сын Зари (Утренняя Звезда – Люцифер)...

А говорил в сердце своем: «на небо взойду, выше звезд Божиих вознесу престол мой... буду подобен Всевышнему!» Но ты низвержен в ад, в глубину преисподней... ты – как погранный труп (Ис. 14, 12–19).



Вот ужас франциска, – самое «жалкое» в нем, – то, чего люди не знают и за что его не жалеют.

### XCII

«Что такое послушание совершенное?» – спрашивали однажды братья Блаженного, и он отвечал им так: «Мертвое тело возьми и клади, куда хочешь, – не будет противиться, потому что все равно ему, где лежать; посади его на престол, – будет смотреть не вверх, а вниз; в царский пурпур одень, – только побледнеет вдвое... Вот что такое послушание совершенное». [247]

Ты уже не раб, но сын *jam non servus, des filius* (Гал. 4, 7); ты уже не труп, но живой, – так, для Павла, а для Франциска и Лойолы: «ты уже не сын, но раб, *jam non filius, sed servus*; ты – не живой, а труп»: «Призваны вы к свободе, братья». – «Стойте в свободе, которую дал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 13; 1).

Оба, Франциск и Лойола, не устояли в свободе, – под иго рабства вернулись. Церковь в этом неповинна: оба вольно в рабство идут.

Самому веселому человеку в мире вдруг сделалось скучно; самое живое, огненное, легкое, что было в мире, превратилось в самое тяжелое, холодное, мертвое, – свобода Франциска – в «трупное послушание» Лойолы: «Будь послушен, как труп, *perinde ac cadaver*».

Страх свободы, – вот, может быть, грех не только св. Франциска и св. Лойолы, но и всей христианской святости.

Кто освобождает людей, Бог или дьявол; чья Утренняя Звезда – свобода, – Люцифера или Сына Божия, – в этом, конечно, весь вопрос. Иоахим на него отвечает; Франциск молчит.

Страх свободы и гонит его в «послушание трупное»: хочет он только одного, – замереть – умереть, не шевелиться, быть неподвижным, «послушным, как труп», чтоб не причинять боли раненной насмерть душе.

### XCIII

«Трупное послушание», кажется, первая тайна власти брата Ильи над Франциском: «трупом» не чувствует он себя ни в чьих руках так, как в его. Тайна вторая, кажется, то, что брат Илья – единственный человек в мире, «презирающий» Франциска от всей души (этого, впрочем, никто не видит, кроме самого Франциска, потому что брат Илья, по виду, с ним почтителен, как сын, и нежен, как «мать»). Каждым словом своим, каждым взглядом бьет он его по лицу, «наступает ему на уста»; влачит его, голого, как злодея, с веревкой на шее, и делает это лучше всех, потому что не по его приказанию, а по собственной воле. Вот для чего он так нужен Франциску и почему тот любит его, как «мать». Брат Илья, может быть, единственный человек в мире, который утоляет в нем, хоть каплей воды, палящую жажду презрения.

Третья, наконец, самая страшная тайна власти его над Франциском, кажется, то, что он – духовно-«прокаженный». Очень вероятно, что бывали минуты, когда Франциск испытывал такое же к нему отвращение и ужас, как и к тому прокаженному, с которым некогда встретился на дороге, и так же хотел от него бежать, и так же возвращался к нему, и целовал его в уста.

Понял, наконец, что этого не надо было делать, когда узнал, кто он такой; но было уже поздно.

### XCIV

Трижды хотел он бежать от брата Ильи (тот уже давно если не в плоти, то в духе ходил около него, подстерегал); бежать хотел и от себя самого; трижды искал мученичества в крестовых походах: в первый раз, в 1212 году, в Сирии; во второй – в 1215 году, в Марокко; в третий – в 1219 году, в Египте. Искал, но не нашел; если и принял муку, то не от чужих, неверных, а от своих же, христиан.

В 1219 году, при взятии города Дамьетты крестоносцами, увидел впервые, лицом к лицу, ужас войны. Если бы мы лучше знали эти дни Франциска, о которых очень мало говорит история, а легенда не говорит почти совсем, то, может быть, мы увидели бы в жизни его поворотную точку. [248] Главное дело, для которого он шел в крестовые походы, – обращение неверных – не удалось. Он возвращается ни с чем или со смертью в душе; во всяком случае, из последнего похода уже не таким вернулся, каким в него пошел: понял, наконец, страшную косность людей, тяжесть и медленность времени; понял, что лев ляжет рядом с ягненком не так скоро, как ему казалось, и царство Божие страшно от него отдалилось. Вот, может быть, почему, почти тотчас по возвращении из Египта, в 1220 году, на общем собрании – капитула Братства в

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Портионкуле, через одиннадцать лет по его основанию, отрекается от власти  
наместника и передает ее сначала брату Петру Катанскому, а потом, в 1221  
году, брату Илье.[249]

В следующем году, когда заповедь Господню о нищете совершенной в первом  
Уставе от 1209 года уничтожил, должно быть, брат Ильа, не без согласия  
кардинала Уголино, верховного наместника Братства, – Франциск если на это и  
не соглашается, то и не восстает, удержанный «послушанием трупным»; только  
говорит: «Мертв я отныне для вас, братья мои!»[250] Это и значит: «Я уже  
труп». – «Вскоре после того он тяжело заболел и был почти при смерти».[251]

Так, может быть, наполовину от смирения, наполовину от отчаяния,  
отказался он исполнить то, что повелел ему Господь: «рушащийся дом Мой  
обнови, Франциск!» Как бы вдруг усомнился в себе и в деле своем, в свободе  
и в блаженстве нищеты, в Прекрасной Даме, Бедности, – во всем; как бы  
почувствовал, что «другой препоясал его и ведет, куда он не хочет идти»  
(Ио. 21, 18). Кто этот «другой», – брат Ильа, кардинал Уголино, папа,  
Церковь? или тот, о ком сказано:

Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если другой  
придет во имя свое, вы его примете (Ио. 5, 43)?

ХСV

В 1217 году, на капитуле Братства в Портионкуле, свел кардинал Уголино  
св. Франциска со св. Домиником, «отца бедных» – с «отцом Святейшей  
Инквизиции».

«Брат мой, ты делаешь то же, что я, – воскликнул Доминик, обнимая  
Франциска. – Будем же вместе, и никто не одолеет нас!»[252] На это Франциск  
ничего не ответил, давая тем понять, что принял эти слова за «простую  
любезность», *simplice complimento*. И понял Доминик, что делать ему с  
Франциском нечего; но, как потом оказалось, ошибся: кое-что можно было с  
ним сделать.[253]

«Я не хочу быть палачом братьев моих, предавая их в руки судей  
мирских», – говаривал будто бы Франциск, вероятно, о судьях Св.  
Инквизиции.[254] Но в «Завещании» сказано совсем иное: «Если бы кто-нибудь  
из братьев оказался подозрительным по римско-католической вере, то  
представлять его ближайшему брату-настоятелю (*custos*...) и тому заключать  
его, связанного, под крепкую стражу... и стеречь, днем и ночью, так, чтоб он  
не мог убежать... и представлять ближайшему наместнику... и тому заключать его  
под стражу... и представлять верховному наместнику Братства, монсиньору  
епископу Остийскому».[255] Если бы эти слова, в «Завещании» Франциска, были  
подлинны, то мог ли бы он не знать, что сделался-таки «палачом братьев  
своих», посылая их на костры Св. Инквизиции? Это и значило бы: «ты,  
Франциск, делаешь то же, что я, Доминик: будем же вместе!»

Здесь, кажется, одно из двух: или слова эти – гнуснейший подлог, должно  
быть, брата Ильи; или Франциск изменяет в них себе самому, в самом  
главном, – в Духе, ибо нет никакого сомнения, что огонь Св. Инквизиции – не  
огонь Духа Святого: этот надо было потушить, чтобы тот зажечь.

В 1312 году, через восемьдесят лет по смерти Франциска, появится книга  
брата Анжело Кларено: «История семи скорбей Братства меньших».[256] Это  
сплошной мартиролог не только Франциска Братства, но и самого Франциска –  
«Серафима Распятого» тою самую Римскую церковь, которой он хотел быть  
«послушным, как труп». Сына своего, сама не зная, что делает, – распинает  
мать.

Брат Бернардо да Квинтавалла, «первенец» Франциска, возлюбленный, о  
котором он говорит: «Я хочу, чтобы все его любили и почитали, как меня  
самого», [257] – будет затравлен, в Апеннинских горах, как хищный зверь, а  
«Завещание» Франциска сожжено на голове другого брата, который слишком  
упорно хочет быть ему верным. И тысячами будут сжигаться братья на кострах  
Св. Инквизиции, в течение полутора веков.[258] Если бы все это предвидел  
Франциск, остался ли бы он все-таки послушным Римской церкви, «как труп»?

ХСVI

«Зачем ты это сделал?» – спросил Блаженного кто-то из братьев об его  
отречении от власти наместника. «Не мучай, не мучай меня, оставь... Я уже  
ничего не могу... слишком поздно!» – ответил Франциск.[259]

В слабости, в трусости обвиняет он себя, а может быть, и в измене  
Христу: «Если мы признаем, что жить по Евангелию есть нечто невозможное, мы  
Христу поругаемся!»

«Братья (изменники) каждый день вонзают мне в сердце острый нож и  
переворачивают его!»[260] Нет, не братья, – он сам. Кто погубил дело его –  
дело Господне, – брат Ильа, кардинал Уголино, папа, Церковь? Нет, он сам.

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Точно заразился от брата Ильи, «прокаженного», когда целовал его в уста, и заразил поцелуем своим Прекрасную Даму, Бедность, и Невесту Христову, Церковь.

«Кто отнял у меня братьев моих? кто похитил возлюбленных?» Он сам.

«Прокляты, прокляты, прокляты да будут, Господи, Тобою все, кто разрушит дело Твое в Братстве моем!» – это проклятие падает бессильно в пустоту, неизвестно куда, на кого, – или на его же собственную голову.

«Если только доживу до общего Соборания, – я им всем покажу!» [261] Нет, никому ничего не покажет, кроме все того же «послушания трупного»; умрет в бессилии: «Мертв я отныне для вас, братья мои!» Раньше тела душа умерла.

## ХСVII

В мертвой тишине ночей слышался ему, может быть, голос брата Ильи – «брата Дьявола»: «Самоубийца! Отцеубийца! Сколько ни молись, сколько ни трудись, – ты, все равно мой!» [262] И были, вероятно, минуты, когда он чувствовал, что так оно и будет.

Снова как бы «в дыру провалился», – в пятую, так же постыдно, жалко и страшно, как в четыре прежних, – нет, еще страшнее, жальче и постыднее: в первую провалился, от отца прячась; во вторую, – посаженный отцом; в третью, – кинутый разбойниками; в четвертую, – кинутый проклятием отца земного, а в эту, пятую, – чьим проклятием, – подумать боялся. Эта последняя, – глубже, бездоннее всех.

Так ему казалось, и так могло быть. Если же мы ужасаемся, что и такой великий Святой, как Франциск, был на волосок от вечной погибели, то, может быть, потому только, что не знаем вовсе, что такое святость; не видим, что самый первичный и подлинный опыт Святых есть самое живое, вечное, предельное ощущение первородного греха как неизбежной гибели.

Кто же может спастись? – Людям это невозможно; но Богу возможно все (Мт. 19, 25–26).

Все великие святые – такие же великие грешники, как мы, с тою лишь разницей, что мы этого не видим, а святые видят; мы, в грехах наших, коснеем и погибаем, а святые через грехи свои спасаются и достигают святости. Чем суше хворост, тем ярче пламя костра; чем больше грех святых, тем выше пламя святости.

«Дивен Бог во святых своих», – и страшен? нет, может быть, только в них и не страшен.

## ХСVIII

Очень вероятно, что бывали у Франциска и другие минуты, когда и в этой последней. Пятой Дыре, – в глубине преисподней, он больше, чем верил и надеялся, – знал, что будет спасен; что на тех же крыльях Духа, на которых вынесен был из тех четырех «дыр», вынесен будет и из этой пятой, последней; и уже чувствуя веяние Духа, – блаженствовал, так же как, умирая в солнце, Утренняя звезда играет всеми цветами радуги, играл и он; «пел, умирая», *mortem suscipit cantando*.

Только смерть будет концом этого выхода из пятой Дыры, но уже начало его – Альверно.

## ХСIX

В сердце Италии, в Казентинской области, среди высочайших и неприступнейших Апеннинских гор, возносится гора Альверно, – острая, гладкая, черная, отдельная, точно с неба упавшая, исполинская базальтовая глыба, – как бы земное подобие небесного престола Люцифера. Только на самой вершине ее находится доступная по одной лишь, снизу ведущей, тропе, мачтовыми соснами и буками поросшая площадка, откуда виднеются необозримые дали: Романья, Анкона и Адриатика, на западе, а на востоке – Умбрия, Тоскана и Средиземное море. [263]

Осенью 1224 года, чувствуя, что приближается конец, – последнее от одежды плоти обнажение, освобождение, и желая к нему приготовиться, ушел Франциск на гору Альверно.

В поисках пустыни совершенной уходил он все дальше и дальше, от людей к Богу: на гору ушел сначала только с тремя братьями; потом ушел и от них, – в такое место, где они не могли видеть его; потом, – где не могли слышать, на отдельную, отовсюду окруженную безднами, скалу. С местом, где жили братья, в листовых хижинах-кельях, соединял эту скалу только перекинутый головокружильным, над бездною, мостиком, буковый ствол. [264]

«Господи, дай мне узнать, как Ты любил и страдал!» – молился Франциск. [265]

Сын Божий возлюбил меня и предал Себя за меня (Гал. 2, 20), – это самая глубокая и огненная из всех человеческих мыслей; кто понял и пережил ее как следует, для того становится она единственной; больше ни о чем думать и чувствовать не может он ничего. Это поглощает всего человека, – не только душу его, но и тело; в теле своем испытывает он хотя и бесконечно малую, но все же возрастающую меру того, что испытал за него Распятый. «В теле моем я чувствовал Страсти Господни», – вспоминает Франциск о том, что с ним было на горе Альверно. [266]

Я сораспялся Христу, и уже не живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 19–20), – по слову Павла.

Как бы матерью Сына Божия становится в этом всякая душа человеческая: меч и тебе самой пройдет душу (Лк. 2, 35).

Душу и тело вместе пройдет «великая и сладостная рана любви», *grande et suave vulnus amoris*. [267]

Дай мне ранами упиться,

В крестной муке, опьяниться

Кровью Сына твоего, – этой неимоверной молитвой молится человек в такие минуты. [268]

Слава Тебе, Голова, окровавленная,  
Тростью избитая, терном венчанная...  
Недостойного не презри,  
Не отвергни, Пастырь Добрый...  
На руки мне, умирая,  
Преклони Твою главу...  
Я хочу страдать с Тобой,  
Умереть с Тобой хочу! [269]

Этого никто, после Павла, не пережил так, как Франциск, за сорок дней поста и молитвы на горе Альверно. Очень вероятно, что уже и в эти дни он чувствовал в ладонях, ступнях, в правом боку и вокруг лба сначала только слабое, а потом все более сильное жжение; и если бы благоговейный врач следил за тем, что происходит в теле его, то, может быть, увидел бы, на этих местах, сначала бледно-розовые, а потом все ярче краснеющие пятна. «Когда я помышлял о Страстях Господних, то чувствовал их в теле моем». В тело его как бы входило тело Распятого, так что два были одно.

СИ

В день Воздвижения Креста Господня, 14 сентября, на восходе солнца, вышел Франциск из лиственной хижинки-кельи, на той неприступной скале, и остановился, вглядываясь пристально, долго, широко раскрытыми глазами в утреннюю, на светлеющем небе, звезду, переливавшуюся, как исполинский алмаз, всеми цветами радуги. И вдруг показалось ему, что звезда приближается – прямо на него летит; ближе, все ближе, растет и растет все огромное. И это уже не звезда, а распятый на кресте человек, с шестью, как у Серафима, пламенеющими крыльями: два осеняют главу, два распростерты в полете и два покрывают все тело.

«Видя же то, Франциск весьма устрасился... и не мог понять, что значит это видение». [270] – «А между тем от лица того Серафима вся гора сияла, как солнце. И, подойдя ко мне, сказал мне Серафим некое тайное слово, – вспоминает Блаженный. – Слова этого я никому не открыл; но близко время, когда оно будет открыто». – «Ч[271] «Это святая и страшная, Богу единому ведомая тайна». – «Будем же и мы о ней молчать». [272]

СИИ

Тайны Серафима Распятого не открывает людям Франциск, вероятно, потому, что не может этого сделать, так же как не мог выразить того, что слышал и чувствовал, когда играл на бесструнной виоле; и еще потому, что тайны этой не велел ему открывать Серафим.

Вы теперь еще не можете вместить. Когда же придет Дух... то откроет нам всю истину (Ио. 16, 12–13).

Тайну эту знал, кроме св. Франциска, только один человек – Иоахим Флорский; он и открывает ее, насколько люди могут ее вместить. Тайна Альвернского видения есть тайна «Вечного Евангелия» – Третий Завет, Третье

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский filosoff.org  
Царство Духа, – Свобода.

Крылья Серафима – символ полета – движения бесконечно свободного в Духе: Дух дышит, где хочет... Так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ио. 3, 8).

Крылья Серафима – огненные, потому что Дух есть Огонь, и «третье состояние мира – огненное». То, что увидел и узнал Иоахим, в Пасхальную ночь 1200 года, глядя на белеющие в темно-лиловом небе Калабрии снеговые вершины Студеных Альп, – снова увидел и узнал Франциск, на горе Альверно. Это видение ответило тому; этим завершилось то.

Если Франциск, как вспоминает легенда, «весьма устранился и не мог понять, что значит это видение», то, может быть, потому, что сначала не узнал Христа в Серафиме Распятом, Сына Божия – в Духе, Второго Лица – в Третьем; узнает только тогда, когда Серафим скажет ему «некое тайное слово». Так же не узнал Его Франциск, как мы не узнаем: в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не узнал (Ио. 1, 10).

### СIII

Хуже нельзя было понять Альвернского видения, чем понято оно людьми. «Богом самим открыто было Франциску, на горе Альверно, что здесь возобновятся Страсти Господни», – утверждает легенда. [273]

Для чего это нужно было, объясняет, в самую минуту смерти Блаженного, дьявол, говорящий из одной бесноватой заклинателю: «Бог уже постановил истребить за грехи весь человеческий род... Но Сын Божий, ходатайствуя за него перед Отцом, обещал снова сойти на землю (воплотиться), чтобы пострадать за людей, в лице Франциска... И Бог, согласившись на это, помиловал людей и отложил Суд до времени». [274] Это значит: первое воплощение Христа в Иисусе не удалось; удастся второе – в св. Франциске.

В царственном пурпуре, в сонме бесчисленных Ангелов или святых является Блаженный, по смерти своей, одному из Меньших братьев. «Не Христос ли это?» – спрашивает его один из сонма. – «Да, Христос!» – отвечает брат. «Не Франциск ли это?» – спрашивает его другой. «Да, Франциск». [275]

А лет через десять св. Дульсенина, на юге Франции, после видения св. Франциска, возвещает сестрам: «Да, воистину, под крыльями его (Серафима Распятого, Pater Seraphicus) все вы спасетесь... Это новый Христос!» [276]

Так совершается полное и сознательное, в догмате, отождествление св. Франциска со Христом, в страшной догматической путанице, в кощунственном смешении двух Заветов, Второго и Третьего.

То, чего так боялся Франциск, постигло его: сделано было все, что от людей зависело, чтобы вознести его на «опустевший престол Люцифера», и если это все-таки людям не удалось, то не по их вине, а по милости Божьей к Святому.

Главное для тогдашних людей, хотя и трудно для нас понимаемое, потому что слишком нелепое и кощунственное, доказательство того, что в человеке Франциске воплотился «новый Христос», – «язвы Господни», «Святейшие Стигматы», на теле Блаженного.

### СIV

«Тотчас (после Альвернского видения) на руках и ногах его начали появляться как бы знаки от гвоздей, соerperunt apparire signa clavorum... с круглыми и черными головками (опухольями, должно быть) и как бы с немного загнутыми остриями внутри ладоней и ступней; также на правом боку появилась рана, как бы от копья, иногда источавшая кровь», и на лбу, – язвинки, как бы от тернового венца. [277] Если точное сходство этих Францисковых язв с Господними легенда и преувеличивает, то нет никакого основания сомневаться в том, что нечто подобное действительно появилось на теле Франциска. [278]

Тщательно скрывал он их от всех: «братьям давал целовать лишь кончики пальцев, пряча в рукав остальную кисть руки, или даже давал им целовать только рукав». [279] Но совсем утаить их не мог: кое-кто из братьев увидел их или догадался о них, по запятнанным кровью одеждам его; или по тому, что он не мог ходить от ран на ступнях, или по тому, что брату Леоне, самому верному и молчаливому, позволял он накладывать перевязки на раны, так что скоро узнали о них все. Рдели сквозь толстую шерстяную ткань рясы пять Святейших Язв, как сквозь прозрачную дымку – пять раскаленных углей, и малые язвинки на лбу, сквозь низко на него надвинутый куколь, рдели тоже, как искорки. И это казалось людям как бы непрестанно совершавшимся перед ними великим и страшным чудом Божиим.

Павловы Язвы: «я ношу язвы, Stigmata, Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17), – люди забыли, и казалось им, что первый и последний, единственный из людей, носящий, на теле своем, язвы Господни, – Франциск.

Если он так тщательно скрывал их, то, может быть, не только от смирения, но и от страха: все не мог понять Альвернского видения; все не знал, что это было, – кто это был.

Только в одном люди не ошибались: новое, в самом деле, после Христа никогда еще в мире небывалое, дыхание Духа пронеслось тогда над миром. Снова Дух «дышал, где хотел», и голос Его люди слышали снова, и «не знали, откуда приходит он и куда уходит». О, если бы знали, как внезапно изменилось бы все вокруг них и в них самих; как неимоверно приблизилось бы царство Божие!

## CV

Кажется, тотчас после Альвернского видения Франциск начал слепнуть, как будто глаза человеческие не могли вынести того, что он увидел.

Медленно слеп и в то же время слабел от язв; кажется, впрочем, – не столько от боли (язвы были чудесно-естественны, как бы необходимы для тела его), сколько от небольшой, но постоянной потери крови от язвы на правом боку; остальные, кажется, вопреки легенде, были бескровны. [280] Кроме слепоты и ран, был болен и многими другими болезнями: страдал желудком, почками, печенью, а потом и водянкою. [281] Два последних года жизни своей не жил, а умирал.

Но, в жизни его, все оставалось как будто по-прежнему, шло своим чередом: так же странствовал он по городам и селеньям, но уже не мог ходить пешком, а ездил на осле; [282] так же проповедывал; так же был деятелен, и казалась, даже деятельнее, чем когда-либо, – точно спешил не кончить свой подвиг, а начать. «Братья, начнем же, наконец, служить Господу: мы ведь ничего еще не сделали!» – говорил именно в эти последние дни. [283] И так же брат Илья презирал его; каждым словом, каждым взглядом, унижал и оскорблял, – «топтал ногами», но этим-то и был ему дороже всех людей; за это-то и любил он его, как «мать». И так же благоговейно-безжалостно, и даже теперь безжалостней, чем когда-либо, люди с ним делали то, чего боялся он больше всего: возносили его «на престол Люцифера».

Все извне оставалось по-прежнему, но изменилось внутри: самое важное сделалось неважным, великое – маленьким, как будто преломленным в уменьшительном стекле.

Все еще стояло в глазах его неимоверное Видение; все еще звучало в ушах неизреченное Слово, и все звуки жизни заглушились им, как шелест деревьев – гулом громов. Все хотел и не мог он понять, что это было, кто это был; все узнавал, узнавал и не мог узнать лицо Христа в лице Серафима Распятого.

Впал как будто в такую глубокую задумчивость, что ничем не мог быть от нее пробужден; уходил в нее, как брошенный в воду камень идет ко дну. Точно прислушивался опять, как тогда, играя на бесструнной виоле, к звукам, никем, кроме него, не слышимой музыки.

Что это было, он не знал; знал только, что услышанное им от Серафима «тайное слово» возвещало людям такую радость, о которой не могут они и подумать, и что в радость эту первый войдет, умирая, он.

«Смерть будет для тебя бесконечно радостью», – предсказал ему кто-то из братьев, – может быть, тот, кто больше всех любил его и знал лучше всех, – брат Бернардо, первенец его возлюбленный. [284]

Но если бы кто-нибудь сказал ему, что радость эта будет в Третьем Завете, в Царстве Духа, – он, вероятно, не понял бы, что это значит, или испугался бы этого как опаснейшей ереси.

Между словом о Духе и тем, что в нем делал Дух, была такая же разница, как между определяющим закон мирового тяготения числом и самую действующую силой тяготения: то было не это, как математика – не музыка небесных сфер,

любовь, что движет солнце и другие звезды. [285]

## CVI

Брат Илья, только что узнал о язвах Господних на теле Блаженного, – понял, какую можно сделать из них доходную статью, и, чтобы привлечь на товар покупателей, начал развозить и показывать полуживого Франциска по городам и селениям, как странствующий балаганщик развозит по ярмаркам и показывает редкого зверя. [286] Но ранней весной 1225 года, месяцев за шесть до смерти Франциска, болезнь его, водянка и кровавая рвота, усилилась так, что брат Илья, опасаясь, чтоб он не умер по дороге, в каком-нибудь чужом городе, и тамошние жители силой не отняли у него драгоценного тела (множество было на него охотников), повез умирающего в Ассизи, откуда выслан был военный отряд для охраны живого или мертвого тела Франциска от нападения перуджийцев, исконных врагов и соперников Ассизи.

Ночью, при свете потешных огней, с песнями и плясками, встретили умирающего святого ассизские граждане, «потому что радовались, – вспоминает легенда, – что он скоро умрет и тело его навсегда у них останется».[287]

#### CVII

Но Франциск умер не так скоро, как надеялись ассизские граждане: месяца три от начала июля до конца сентября прожил он в епископском дворце, где брат Илья держал его как в заключении, не допуская к нему почти никого, все из-за того же страха, чтобы в последнюю минуту не отняли у него эту драгоценную собственность. Ночью окружала дворец сильная стража, потому что и здесь все еще опасались нападения перуджийцев.[288] Так, в этом же самом дворце, где некогда Франциск освободился, – сделался он снова узником; там же, где некогда отрекся он от собственности, сняв последнюю рубашку с тела, – сделалось и самое тело его собственностью брата Ильи.

#### CVIII

Медленно умирал Блаженный и так мучительно, что, когда спросил его кто-то из братьев: «Что предпочел бы ты, – эту болезнь или мученичество?» – он ответил: «Самое для меня радостное – то, что со мной и через меня делает Господь. Но если бы не так, то мученическая смерть была бы мне легче, нежели три дня таких страданий!»[289]

Но вдруг ему делалось легче; почти не страдал и чувствовал, в такие минуты, как, может быть, еще никогда в жизни, чистейшее блаженство бытия: не умирал, – был.

Так ослеп, что света дневного почти уже не видел; но, по мере того как внешний свет для него потухал, – разгорался внутренний.

В эти именно дни сложил он «Песнь тварей», может быть, потому, что из слышанного от Серафима Распятого «тайного слова» понял, как никто из людей, после Павла, что не только люди, но и вся тварь «освобождена будет от рабства в свободу сынов Божиих», и в этом была его главная радость.

Слава Тебе, Господи, во всех творениях Твоих, – особенно же в Государе Брате нашем, Солнце, ибо оно в лучезарном сиянии своем знаменует Тебя, о Всевышний!

– пел из вечной тьмы, уже почти не видя солнца. Когда же сам петь не мог от слабости, пели за него братья. Слышались их радостные голоса во дворце не только днем, но и ночью, так часто, что брат Илья обеспокоился, как бы цена товара – святость живых мощей не уменьшилась от такого «непристойного веселья». – «Очень я умилен и утешен этими святыми песнями, сын мой, но ассизские граждане, слыша, как ты днем и ночью поешь, могут соблазниться и подумать: „Надо бы ему плакать и каяться, помышляя о смерти, а он поет!“» – остерегал он Блаженного.[290]

Это был последний дьяволов смех над Франциском. Но на этот раз, первый, может быть, и единственный, не оказался он «послушным, как труп», – продолжал петь.

«Скоро ли я умру?» – спросил однажды врача. «Очень скоро», – ответил тот, зная, что он желает смерти. И весь, в лице просветлев и глядя перед собою так, как будто видел ту, с кем говорил, – воскликнул Блаженный:

– «Здравствуй, Сестра моя, Смерть!»[291]

И тут же прибавил к «Песне тварей»:

Слава Тебе, Господи, за Сестру нашу, Смерть,  
ее же никто живой не избегнет!

Горе тому, кто в смертном грехе умирает;  
блажен, кто исполнит святейшую волю Твою,  
ибо смерть вторая ему не сделает зла!

– Спойте мне, братья, песнь о Сестре нашей, Смерти! – часто просил он, в эти последние дни. Братья пели и плакали, а он радовался.[292]

#### CIX

Очень не хотелось ему умереть во дворце, «месте нечистом». Дней за десять до смерти попросил он, чтобы перенесли его в Портионкулу. Брат Илья опасался, что охранить его от нападения в лесной обители будет труднее, чем в городе; но умирающий просил об этом так настоятельно, что и брат Илья, наконец, почувствовал, что в этой последней воле нельзя ему отказать, и согласился.

Братья положили его на носилки и понесли в сопровождении воинов. Слепой Франциск их не видел, но, может быть, слышал в бряцании оружия, охранявшего тело его, драгоценную собственность брата Ильи, все тот же дьяволов смех.

Ровно на полпути между Ассизи и Портионкулой, у больницы прокаженных,

Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
где встретил Франциск одного из них, двадцать лет назад, попросил он  
поставить носилки на землю и приподнять его; обратил слепые глаза на город  
Ассизи и, осенив его крестным знаменем, сказал: «Господи, да будет этот  
город мой вовеки и Твоим; я любил его, – люби и Ты!»[293]

СХ

Сразу наступило такое улучшение в Портионкуле, что братья начали было  
надеяться на чудо исцеления.

Радовался Блаженный, что «тело его там же умрет, где родилась его  
душа», – в Портионкуле, «Частице Земли», – второй на земле точке царства  
Божия, после той первой, на горе Блаженств. Радовался, как узник, бежавший  
из темницы на волю: свежестью лесной дышал и не мог насытиться; слушал  
пенье сестер своих, Птиц, и брата своего Кузнечика, – и не мог наслушаться.

Слава Тебе, Господи, во всех творениях Твоих...

Слава Тебе, в Матери нашей, Земле,  
которая носит нас и питает,  
рождая многие плоды и злаки, и цветы прекрасные, – пел еще радостнее  
здесь, на лоне Матери Земли.

Слава Тебе, Господи, в Брате нашем, Солнце!

пел или шептал, иногда просыпаясь ночью: для него была уже вечная ночь –  
вечный день. Солнце одно уже закатилось; пел другое Солнце, незакатное.

СХI

Но внезапное улучшение в Портионкуле было только последнему, в потухающей  
лампаде, вспыхкою пламени.

1 октября, в четверг, он был так плох, что думали, – отходит. Но не  
отошел и, только что стало полегче, начал что-то тихонько шептать. Братья,  
наклонившись к нему, услышали:

«Голого, голого... когда я буду при последнем издыхании, положите меня на  
голую землю, голого, и столько времени оставьте так, сколько нужно  
человеку, чтобы медленным шагом пройти с версту!»[294]

И опять с мольбою бесконечной:

«Голого! голого! голого!»

Вечером в пятницу велел принести хлеб и прочесть Евангелие от Великого  
Четверга; думал, что день тот – Четверг: времени для него уже не было; был  
вечный Великий Четверг – вечная Тайная Вечеря.

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира к  
Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, возлюбил их до конца  
(Ио. 13, 1).

Молча взял хлеб Франциск, благословил, преломил и подал братьям. Но в  
молчании казалось им, что сам Иисус говорит: сие есть Тело Мое.

Чаши не было; но им казалось, что сам Иисус подает им чашу и говорит:  
сие есть Кровь Моя.

Так совершилась первая Тайная Вечеря уже не в одной из двух Церквей,  
Западной, Римской, а в единой, Вселенской. «Таинство Тела и Крови могут  
совершать только служители Римской церкви» (священники), – говорил  
Франциск,[295] но сделал иначе: таинство совершил, не быв священником.

СХIИ

Вечером в субботу, 3 октября, видя, что Блаженный отходит, братья  
исполнили волю его, с точностью: догола раздели, только власяницу на  
чреслах оставили, и положили на голую землю. И весь затрепетал он от  
радости, что верен будет до конца Возлюбленной своей, Прекрасной Даме,  
Бедности; голым, как младенец, выходящий из чрева матери, вернется в Землю  
мать. [296]

Долго лежал он молча, и лицо его светлело, как бы озаряемое внутренним  
солнцем. Вдруг запел тихо, но так внятно, что все удивились.

*Vocē ad Dominum clamavi... libera me!* Голосом моим к Господу воззвал я...  
освободи меня! (Пс. 141, 1-7).

Кончил петь и, подняв слепые глаза, воскликнул:

«Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне умереть свободным от  
всего!»[297]

Первое слово его, когда ушел он от отца, было о свободе и последнее –  
тоже.

СХIИИ

Сумерки сходили на блаженно-пустынные, как будто не на земле, а где-то в



Франциск Ассизский Д.С. Мережковский [filosoff.org](http://filosoff.org)  
раю, лиловеющие холмы и долины Умбрии. В небе играла звезда вечерняя,  
переливаясь всеми цветами радуги, так же как утренняя, умирающая в солнце,  
Звезда Франциска.

В келье, где голый лежал он на голой земле, было так тихо, что братьям  
казалось, что никогда еще не было в мире и никогда уже не будет такой  
тишины.

Вдруг послышалось пение жаворонков, *Lodola capellata*, тех самых, которых  
любил Блаженный за то, что «носят они на головках как бы монашеский куколь  
и темный цвет перьев их напоминает цвет монашеских ряс»; и за то, что  
«смирненно питаются, бегая по дорогам, находимыми в навозных кучках зернами  
и Господу своему так же сладко поют, как Нищие братья, от всего земного  
свободные». Этих-то жаворонков множество слетелось на соломенную крышу той  
хижины-кельи, где умирал Блаженный, и, кружась над ней, тихо пело. И  
страшно, и чудно было братьям слышать, как птицы дневные Солнцу Ночному  
поют. [298]

Как жаворонок, в небе утопая,  
Сначала поет, а потом умолкает,  
Последней сладостью блаженства упоенный, – так умолк Франциск. [299]

Так тихо отходил он, что никто не слышал его последнего вздоха, и только  
тогда, когда жаворонки вдруг замолчали, поняли все, что он отошел.

#### CXIV

Папой Григорием IX и братом Ильей воздвигнут был, в городе Ассизи,  
великолепный собор св. Франциску, возлюбленному Прекрасной Дамы, Бедности,  
и Ей самой – гробница богатейшая, неколебимая твердыня Собственности.  
Самого свободного из людей Церковь заковала в золотые цепи – ризы икон;  
самого живого похоронила, как мертвого. Но были, есть и будут люди,  
слышащие голос живого: «Я, маленький брат ваш, Франциск, целуя ноги ваши,  
молю и заклинаю вас всех, во всем мире живущих, людей... принять с любовью и  
смирением слова Господа нашего Иисуса Христа... и по ним жить». [300]

Мало сейчас и, вероятно, долго еще мало будет людей, чье сердце от этой  
мольбы содрогнется, как будто их, в самом деле, молит, «целуя ноги» их,  
Серафим Распятый. Что же им делать сейчас? То, чему нас учит сам Франциск:  
соединиться в Третье Братство, *Tertius Ordo*, включающее в себя и самых  
слабых, грешных людей, – таких, как мы. «Третье Братство» – все  
человечество в Третьем Царстве Духа, в будущей Вселенской Церкви. Этого  
Франциск умом еще не знал, но сердцем, может быть, уже чувствовал. И по  
тому, что такие грешные, как мы, это уже знают, – видно, какое движение  
Духа совершилось в человечестве от Франциска до нас.

Третье Царство Духа возможно и для таких, как мы, потому что и в таком  
человечестве, каково оно сейчас, совершается через Святых шествие Духа от  
Иисуса к нам.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!